# МИГ
## к которому прикасаюсь

БОРИС ФИЛИППОВ

# МИГ, К КОТОРОМУ Я ПРИКАСАЮСЬ

**Рассказы**
**Очерки**
**Стихи**

Не в комнате, а в нем одном
(свет запредельный за окном)
сижу и словно каюсь.
Такой-то час, такой-то день —
в число любое миг одень,
к которому я прикасаюсь.

*Андрей Николев*

**Вашингтон, 1973.**

Обложка работы
Евгении Жиглевич

*Жене*
*с любовью*
*посвящается*

Все права сохранены за автором.

Printer: I. Baschkirzew Buchdruckerei,
8 München 50, Peter-Müller-Str. 43.

Printed in Germany

## МИМОЛЕТНОСТИ

*Памяти матери*

Вот и монография готова —
Фолиант огромной толщины...

*Гумилев*

Когда-нибудь сытый профессор
с довольным румяным лицом
дней наших кровавую повесть
уложит в убористый том.

Спокойный, покорный читатель,
зевая, его развернет
и выловит пресные фразы
про наш богоносный народ,

про скифские степи и реки,
последний решительный бой, —
их выблеет важному гостю,
всецело довольный собой.

А гость (за икрою и водкой)
промямлит, икнув сгоряча:
«Мы — истое скифское племя,
— мы — Третьего Рима свеча!»...

1942

# ВАРЬКА

Этот бревенчатый военный поселок, кажется, был построен для лазаретно-госпитальных надобностей еще в годы русско-японской войны. А сейчас в нем расквартирована наша дивизия. Длинные приземистые бараки из вековых побуревших могучих лесин, кишащие рыжими, как классические жандармы, тараканами. В одном из бараков — квартира отца, штабс-, а потом капитана Сибирского стрелкового полка. Когда еще не был вырыт на дворе погреб, мать выставила на холод стеклянную банку со сметаной. Наутро это была сплошная шевелящаяся буро-охряная трясина — еще не захлебнувшиеся тараканы будоражили сметанную поверхность. Под каждую ножку железных кроватей, обильно смазанных керосином, ставили консервную жестянку с морильной жидкостью, но хитрые пруссаки бросались на нас с потолка — наподобие нынешних парашютистов. Война с тараканами была ожесточенной и упорной.

Рос я среди солдат отцовской роты, предпочитая солдатский крутой черный хлеб и остро-духо-

витые наваристые казарменные щи самым вкусным домашним лакомствам. А земляничный солдатский чай и земляничное мыло — плохо различимые из-за ядовито-внушительного вкуса и запаха — казались романтическими и влекли в просторные дали сказочного юга, такого, как на глянцевитых картинках переплетов детских книг. Чай, мыло и окаменелая карамель — ромовая и Тореадор — вынимались из аккуратных солдатских сундучков, окованных железными полосами, стоявших под казарменными нарами. Внутренняя сторона крышки всегда была оклеена вырезанными из журналов картинками, чаще всего непомерно грудастыми дамами той или иной степени раздетости. А смачные солдатские рассказы о жизни, всегда сдобренные изрядной долей фантастики, свойственной молодым мужикам, надолго оторванным от ласкового бабьего тела и теплой — особенно издали— домашности! Волшебный сплав детскости и простодушной похабели, мечтательная песенность затысячеверстной родины, анекдоты и были неведомых заморских стран, перешедшие по наследству от старшего поколения солдат, помнивших Мукден и поля Маньчжурии . . .

А полковой духовой оркестр по вечерам, в беседке-павильоне у офицерского собрания, разливался вальсами Вальдтейфеля, гремел бравурными попурри из популярных опер и оперетт, а чаще всего задумчиво рокотал, любовно выпевая вальс «На сопках Маньчжурии». Усатый капельмейстер

из евреев-консерваторцев, сердито пуча подслеповатые глаза, тыкал дирижерской палочкой то в сторону первого кларнета, то в самый дальний угол — турецкому барабану, запоздавшему с пулеметной дробью раскатистого финала . . .

Самыми большими друзьями детства были даже не ребятишки других офицеров и многодетного старослужилого фельдфебеля отцовской роты, — конечно, как и большинство сверхсрочников, исполнительного и хозяйственного украинца. Старший сын его, приходя ко мне, его сверстнику, сильно потел в топорщащейся жестяной новехонькой рубахе и неторопливо тянул меня в столовую, откуда сладко пахло непривычными барскими яствами. «Исть хочу» . . .

Нет, самыми близкими друзьями детских лет были денщики, по-детски непосредственные и наивные, но в то же время умудренные опытом своей доказарменной и казарменной эротики. С широко раскрытыми глазами, не вкусивший как будто от древа познания добра и зла, денщик Павел, рослый, ширококостный, веснущатый, усадив меня на свою койку в боковушке рядом с кухней, повествовал о том, как долго кочевряжилась некая вдовка в соседней деревушке Березовке, куда отпускные на побывку солдаты хаживали кутнуть . . .

Мне же казалось, что брак там или *любва* (как говаривали солдаты) — это какая-то неописуемая битва за верх или низ, что-то вроде французской

борьбы или войны индейцев с бледнолицыми, — завлекательная, непонятно-волнующая игра, тревожащая, как четкие рисунки, обклеивающие нутро солдатских сундучков. Что-то в этом и непозволительное — и влекущее, ну как острый запах земляничного чая, как груди красавицы с журнальных объявлений: «Каждая может совершенно бесплатно, лишь прислав семь семикопеечных марок, получить совет о способе пленительно увеличить свой бюст». И я не понимал: при чем здесь бюст? Ведь гипсовый бюст какого-то императора стоял в офицерском собрании . . .

Когда на Святки мне дарились маски из папье-маше и детские пистолеты и ружья с тростиночными шомполами, — денщики не менее меня увлекались игрушками и со смеющимися и радостными физиономиями весело кричали, указывая на стоящего на карачках Сашку или Ваську, моих сверстников и друзей, участников вековечных казаков-разбойников и других игр: «Да ты цель ему в зад: вишь, самое способное место» . . .

Читать я не любил: книжка не поощряла, не обогащала, а стесняла фантазию. То ли дело рассказы, бывальщины и небывальщины солдат и денщиков! Соленые шутки и жеребятина скользили поверх сознания, а увлекала в них какая-то удалая бесшабашь и — «муза дальних странствий»:

— Вот и сел Солдат на медведя, обымает рукам евонную шею, стиснул ногам Михайлу Иваны-

ча покрепче, и на ухо ему: «А ну, друг, вези меня к тоёй Марфе-Царевне, злой изменщице, в Персидское царство, в самую Турещину». А медьведь как понесся — аж за неделю четыре пары железных лаптей начисто стоптал. И видит Солдат — на горе город, а гора-то почище наших сопок, крутая-раскрутая, а под горою река огненная — так и пышет . . . А по стенам ходят япошки с винтовками — видимо их невидимо, и все росточку малого, но в огромадных фуражках, только не как у нас, а с козырьками . . .

Летом полк выезжал на маневры, и мы переселялись совсем близко к летнему лагерю, на нашу бедную дачку, стоявшую среди сосен и елей, неподалеку от Селенги, казавшейся прямо-таки океанской рекой. Я увлекался садиком — у меня была своя цветочная грядка, которую я усердно поливал, выщипывал занесенный в нее сорняк и все ждал, что посаженные мною анютины глазки, резеда, табак вырастут большими-большими, ну, не такими, понятно, как тропические заросли, но все-таки осанистыми.

И тут врагом моим сделалась Варька. Проказливая, шкодливая, она быстро-быстро, скашивая один глаз на меня, скакала от цветка к цветку, прихрамывая, изредко тяжко и натужно взлетывая, и старательно скусывала головки самых ярких и красивых цветов. Догнать ее я никак не мог, а кинуть в нее камнем было жаль.

Ее недавно подстрелил наш сосед по даче, лю-

то вознегодовавший поручик: ворона выпивала в его щелястом курятнике из неокоренных горбылей яйца: зазевается или отойдет на миг квочка, а ворона тут как тут: клюнет и пробьет скорлупку — и выпивает лакомое, густое, сытное. А потом жена поручика долго бесится и ругмя ругает мужа за бесхозяйственность: выстроил курятник сквозной, что твоя клетка... Ворону подстерегли, поймали на месте преступления и поручик прострелил ей крыло: увлекшаяся гастрономией птица проворонила подкравшегося врага-хозяина. Еле-еле смогла взлететь воровка на ближнюю сосну, оттуда и рухнула на крышу нашей дачной кухоньки. Денщик Павел снял отбивавшуюся и пытавшуюся клюнуть его Варьку с кровли, как сумел, перевязал ей раненое крыло и сломанную при падении лапку, приютил ее в своей каморке и совсем уроднился с птицей.

Варька была молодой, крыло быстро заживало, но лапка срослась кривовато, и ворона припадала на один бок, порой грузно и потому невысоко взлетала. Умом и осторожностью птица была, пожалуй, стократно одареннее людей в ее возрасте. Никогда не приближалась она к ограде поручиковой дачи, бодро ковыляла при малейшем признаке опасности к кухоньке, где царил Павел, и пряталась там, — на неприкосновенной территории капитанского денщика.

Скоро стала приятельствовать и с капитаном, моим отцом, близоруким и сутуловатым, скорее ти-

пичным интеллигентом, чем армейским офицером. Отец любил стихи, особенно Тютчева и Гейне, сам писал шутейные вирши, читывал и философские книжки модных тогда авторов. Строевиком он был не ахти каким, и генерал, начальник дивизии, поваркивал: «Дать бы этой роте командира менее штафиристого . . .» Спокойный и добродушный — а зверье любит именно спокойных людей, — отец даже не ласкал Варьку, как обласкивал ее Павел, а лишь иной раз перебрасывался с нею несколькими словами. Но Варька, до сумасшествия любопытная, обожала следить за процессом ежеутреннего отцовского бритья, склонив головку на бок и глухо покаркивая. Отражение в бритвенном зеркальце приводило ее в некоторое недоумение, зато каждое движение бритвы сопровождалось соответственным поворотом ее головы. Любила ворона следить за хозяевами, направлявшимися в досчатый нужник в углу двора. Просовывала головенку в щель неплотно прилаженной двери — неодобрительно помахивала здоровым крылом.

А уж воровкой была первоклассной. Особенно любила котлетный фарш и проверченный через мясорубку творог для творожников или ватрушек, обильно сдобренный яйцами и сахаром, маслом и ванилью. Павел, разумеется, не жалел для своей любимицы хозяйского добра, но мать моя не слишком потворствовала избалованной вороне. Варька боялась хозяйки и, тяжело взмывая на крышу кухоньки, с набитым фаршем или творожной мас-

сой клювом, тщетно пыталась выматериться: клюв был плотно заклеен уворованным вязким лакомством.

По вечерам, когда горнисты проиграют в лагере зорю, полковой оркестр минут сорок ревел армейские марши, рокотал фантазии из бравурных опер и, конечно, мечтательно блуждал «На сопках Маньчжурии». Несколько поодаль солдаты, раскачиваясь задами из стороны в сторону в такт, горланили песни. Всей семьей мы шли на музыку, но Варька на плече у Павла, нервничала, била крылом, бранилась: птицы, как, впрочем, и собаки, готовы повторить за кенигсбергским философом, что музыка есть искусство порождать неприятные шумы.

Этот день — он был особенно жарким. Казалось, что солнце нацело стремится спалить землю. Отец вернулся домой позже обыкновенного.

— Война. Россия объявила войну Австро-Венгрии и Германии. Или они нам объявили войну — сейчас узнаю в штабе полка точнее...

Вскоре мы все вернулись в наш военный поселок. В полковой церкви молебны о даровании победы нашему оружию. Я стоял на клиросе и в первый раз обратил внимание на явный непорядок в иконописи: на боковых вратах Небесный Покровитель нашего полка, Архистратиг Михаил, намалеванный иконописцем-солдатом, был в голубой обуви. Как! Ведь и солдаты, и офицеры — все военные всегда в черных сапогах! И я начал старатель-

но закапчивать обувь архистратига. Заметивший это солдат-певчий донес о моей деятельности отцу, выведшему меня немедленно за ухо из церкви. Обида была нестерпимой: ведь я пострадал за правое дело.

Варька нехотя, но также переехала с дачи в поселок. А когда отец, назначенный начальником эшелона, отправился на фронт и прощался с матерью и со мной, — Павел, с покривившимся в плаче ртом, занес Варьку в ближайший лесок: где тебе, дурехе, под германские пули . . . Солдаты грузились в вагоны хмурые, но спокойные. Никто не клял ни германца, ни австрияка, никого вообще. «Помирать едем. Да двум смертям не бывать . . .» Фельдфебель отцовской роты деловито распоряжался посадкой. Фельдфебелиха часто-часто крестила мужа, урывавшего минутку, чтобы подбежать к ней, мелким бабьим крестом. Ребята в эти минуты цеплялись за тятьку и поревывали. А за медленно тронувшимся вскоре эшелоном долго летела, тяжело взмахивая одним крылом, ворона. Мы следили за нею, пока поезд не скрылся за поворотом. И мы твердо решили: это провожает отца и Павла наша Варька . . .

Наш поезд — мы ехали к родным в Астрахань — отходил через полчаса. Но я тщетно кричал на перроне: «Варя! Варенька!»

Осень четырнадцатого года. И короткое сообщение, принесенное телеграфом в нашу астраханскую квартиру: «Под местечком Копытовым, близ

Варшавы, смертью храбрых пал 2 октября капитан 19 Сибирского стрелкового полка . . .»

У меня была книжка Чарской «Юркин хуторок». И был в ней любимый герой, чудаковатый добряк — учитель немецкого языка, друг Юрки и всех детей. Я вырвал все страницы с этим, помнится, Адамом Ивановичем, и долго, размазывая по лицу слезы, топтал их ногами. И, бросившись к матери, зарыдал:

— И отца нет, и Варьку кинули . . .

1971.

## АРХИВ БЛАГОРОДНЫХ ДУШ

*. . . Не перевелись чудаки на Русской земле . . .*

— Нет, не может быть! Совсем пить неохота, а всего-то выпито два стакана. И самовар почти пустой . . . Домаша! Ты что́, поставила самовар на четверть с водой? Полны́м-по́лным? Странно: не мог же он так выкипеть . . .

Адам Станиславович, в потертом заплатанном халате, недоумевающе уставился на небольшой старинный самоварчик, а его худые ревматические руки, испятнанные старческой желтизной, нервно барабанили по столу.

Мы поселились у Адама Станиславовича, нашего деда, вскоре после революции, в маленьком приземистом флигельке на одной из пыльных немощенных окраинных улиц сонного степного городка. Мы — это я, тогда шестнадцатилетний неуклюжий и вечно голодный дылда, и моя двоюродная сестра Лелька, одних со мною лет. 1921 год не так сильно, как другим, давал нам себя знать — благодаря дедову саду и небольшому огороду, да и сорокалетняя спелая, как антоновка, служанка деда

порою тайно выменивала на толкучке одну-другую из редких ненужностей коллекции Адама Станиславовича. Чего только не собирал наш дед на своем семидесятилетнем веку давнего вдовца! И табакерки (он называл их «табатерками») екатерининских времен — с миниатюрами и просто орнаментами, и прожелтевшие польские литографии Орловского, и совершенно пожухлые портреты каких-то елизаветинских вельмож и польских панов, и каменные наконечники стрел из окрестных курганов, и старопечатные книги с затхлым запахом и подкрашенными от руки гравюрами, — да мало ли еще чего! Всех своих вещей и книг, заполнявших сверху донизу жарко натопленные комнатенки затененного деревьями вросшего в землю флигелька под камышовой кровлей, он и сам до пути не знал, не помнил, — и это помогало Домаше, хлопотливой и преданной, но частенько на деда властно покрикивавшей, выменивать на рынке у мужиков на какую-нибудь табакерку сало и муку, а то и ядовито-пестрые конфеты-«подушечки», весьма тогда ценившиеся. Дед откусывал половинку такой подушечки с каждым стаканом чая, и откладывал другую половинку на блюдечко (а пить он привык не менее восьми стаканов), — и счет несъеденных половинок конфет помогал ему в отсчете выпитых стаканов. Рассеян и подслеповат он был до предела, к тому же во время чаепития всегда читал, «дабы даром не терять драгоценного времени». Русскую литературу он не жало-

вал, называя ее хлопской: «Все о мужиках, черт бы их драл, да о всяких там страстотерпцах за идею!» Зато обожал польских прозаиков, хотя давно и плотно обрусел, а более всего — Дюма, перечитываемого им десятки раз.

Очевидно, Дюма и натолкнул его на мысль обучить свою дворнягу Мадамку нехитрому, но не безопасному номеру. Дед вполсвиста насвистывал «Боже царя храни», — и Мадамка щерила зубы и сердито ворчала. Дед переходил на Марсельезу, и собака ласково махала хвостом и подавала лапу. Но стоило начать насвистывать Интернационал, как Мадамка буквально бесилась: остервенело лаяла и чуть ли ни бросалась на деда. Но при насвистывании «Еще Польска не сгинела» настроение собаки резко менялось: Мадамка бросалась деду в объятия, лизала ему руки, шею, лицо, всячески выражая свой восторг и польский патриотизм.

— Видишь, собака-то посмышленее вас с Лелькой, — посмеивался дед над нашим тогдашним увлечением *завоеваниями революции,* — понимает псина — что к чему . . .

Пора открыть секрет якобы недопитых дедом стаканов чая: это мы с Лелькой не могли преодолеть искушения и пожирали под носом у деда бóльшую часть необходимых для подсчета выпитого чая конфетных половинок . . .

Иногда на деда находило шляхетское вдохновение, и, подведя меня к грубо намалеванному генеалогическому древу рода Канут-Сливицких, он

начинал длинное повествование, тыкая пальцем в того или иного из своих предков, густо рассевшихся по ветвям огромного дуба:

— Видишь, в корнях дерева — витязь в норманских доспехах: это наш родоначальник, викинг Канут из Бергена. Погиб он трагически: его четвертовали. И разорвали-то его на части четыре мощных коня, как раз из тех, что он угнал из конюшен норвежского конунга... Конокрад? Ну, что ты! Вовсе нет. Тогда такие подвиги совершали многие рыцари, — конечно, когда не было военных походов... А вот твой прадед, мой отец: он погиб во время польского восстания 1863 года. В нашем роду никто не умирал своей смертью, на постели...

Нас, шестнадцатилетних, не больно-то занимала генеалогия, да и дедовых гостей тоже. Обычно их бывало двое: „Tres faciunt collegium", — говаривал дед. Михаил Афанасьевич Степаненко — старый эсер, недоучившийся студент юрист, ныне пятидесятилетний потнорукий и длинноволосый счетовод, неудалый ухажор и вообще неудачник, невежественный во всем, кроме тощих социалистических брошюр и революционных стишат. Он учил меня декламации — с хрипом, шипом и надрывом, — ну, так, как читали стихи провинциальные актеры, а ныне читает Андрей Вознесенский. И репертуар его был один и тот же, уныло-революционный:

Как дело измены, как совесть тирана,
Осенняя ночка черна . . .
Черней этой ночи встает из тумана
Видением мрачным тюрьма.

Деду Михаил Афанасьевич был нужен, очевидно, для бесконечных бесплоднейших споров на политические темы: в пане Канут-Сливицком упрямо и причудливо совмещались польский патриотизм, шляхетская гоноровость — и преклонение перед из вторых рук узнанным марксизмом, конечно, не в его революционном обличьи.

Зато третий участник «Архива Благородных Душ», как именовала себя наша троица, был совсем иного склада. Мечтатель-идеалист, жердеобразный отрепыш, весь ушедший в археологию, шестидесятилетний Сергей Петрович Удальцов был в стародавние времена губернским архивариусом. Он мог часами рассказывать о древностях столицы Золотой Орды, захлебываясь от восторга, десятый раз излагать с комментариями анекдоты об Александре Македонском и Петре Великом, цитировать на память стихи никому не ведомых поэтов русского XVIII века. Он же сочинил и гимн «Архива Благородных Душ», начинавшийся запомнившимся мне куплетом:

Наш Архив — страна веселья,
Тунеядства и безделья.
Кто не видел чудных див, —
Тот — пожалуйте в Архив!

Иногда отворявшая гостям двери Домаша была столь заспанно-томна, в ее глазах было столько неторопливо утоленной коровьей страсти, что Сергей Петрович, посмеиваясь, напевал деду:

Наш старый пан
Попал в капкан
И — всем на удивленье, —
Как тезка — праотец Адам,
Прельщает полногрудых дам . . . —
Опять грехопаденье!

— Ну, будет вам зубы скалить! Вот уж *варьят и о́сел,* — ворчал дед, но глаза его светились мужской гордостью: ведь *это* в семьдесят лет . . .

Да, а помер-таки дед не *своей* смертью. В конце двадцатых годов вломились к нему с ордером на обыск и арест чекисты: как-никак, бывший уездный предводитель дворянства. Один из чекистов насвистывал Интернационал, — и Мадамка, уже трясущаяся и полуглухая, с отчаянным воем вцепилась парню в икру.

— Вот, б . . . . , сука, — матернулся чекист, — гада ползучая!

И бедную дворняжку тут же уложил из нагана.

— Собачья жизнь! И собаке не дают своей смертью подохнуть, — вырвалось у деда.

— А ну, давайте не будем, помолчи дед! — прикрикнул обыскивающий.

Больше никто его не видел, нашего Адама Станиславовича. Недели же через три-четыре запла-

канной и враз осунувшейся Домаше вернули в тюрьме ее продуктовую передачу и свежее белье: старика *ликвиднули*.

Недолго прожила Домаша и с Михаилом Афанасьевичем, которому перешла как бы по наследству от деда. Плененный ее добротным сложением и заботливой ласковостью, Степаненко женился на ней. Но разве мог долго уцелеть в тридцатые годы эсер, да еще дважды сидевший в тюрьмах до революции! И опять — передачи, стояние в очередях перед тюрьмой. И опять — возвращенная назад передача... От сдобной Домаши осталось одно воспоминание — съежившееся и исплаканное...

И только старик архивариус остался из всего Архива Благородных Душ. И при встрече с близкими, опасливо озираясь, он все-таки шепелявил, многозначительно подмаргивая:

Как дело измены, как совесть тирана,
Осенняя ночка черна...
Черней этой ночи встает из тумана
Видением мрачным — тюрьма...

. . . . . .

1972

## ХУДОРБА

И вот, поди ж ты, все мне прямо утверждали: с твоим, Пал Иваныч, положением — я тогда нашим сельпом заведовал, — ты любую красавицу на селе оторвешь, которая в теле и личманиста, а Даша — что́ — худорба́, одни глаза, что у цыганки, как уголья: так и прожигают. И, видать, с норовом. Не будет тебе с ей никакого удовлетворения. А я — я ни в какую. Полюбилась Дашка мне. Отвечаю:

— У меня на вольных хлебах отольется бабочка в нужную формальную ситуацию — и в смысле спереду, и сзаду — как есть войдет в тело. А в смысле ее бабской идеологии, прошу не сомневаться: не таких объезживал.

Да только, действительно, не далось нам с Дашенькой счастья. Одиннадцать годков прожили мы с ней, а все ни-ни, никакого результату. Задумается, бывало, «Павлуша,— скажет, — кажись, наконец, тяжелая я». А потом — видим — опять ничего. Бивал я ее, — обидно было от людей, страм: ни одного дитя нет — будто и не мужик я. А она

тоже страдает, скучает, томится. И не только не вошла в тело, а еще осунулась. Что твоя ковыль-трава по ветру клонится. И в глаза мои не смотрит, а как посмотрит, так не глаза у ее бабьи, а как у гадюки какой. С горю да со страму прибью ее чуток, — да и подамся в свое сельпо: в лавке прохладно, в нерабочее, неторговое время и людей нет, и ее, Дашку, не видать. Иной раз и заночевывал в сельпе. Ну, и зальешь горе водкой, коль доли нет с молодкой.

Прихожу раз домой после такой ночевки — сам мутный, с похмелу злой, как цепной кобель, а Даша лежит пластом, бледная, ни кровинки, и лицом в подушку уткнулась — ни на какие рассуждения не отвечает. Разговорилась только часа через два. И все со страхом на углы скашивалась.

— Вот, — рассказывает, — чтой-то около полуночи вдруг в дверь эдак громко стук-стук. Забыла я, что спросить надо спервоначала— кто, мол, там? — а я разом «Войдите», шумнула: думала — ты припозднился. А он — верткий такой, весь как струна на гитаре, аж гудит на поворотах — и все меня щекотит и щекотит — и ни словечка. Отбиваюсь от него — а он все приступает — и все молчком. Конечно, надо б его как следовает отпихнуть, — да разве ж у бабы хватит силы? (А я вижу ее насквозь, самой все ж-таки лестно было, что за ей какой-то хлюст городской ухлестывает: ведь уж немолодой за меня вышла: двадцать четвертый год ей шел, а с той поры больше десяти лет

прошло: так как бабе не радоваться, что за ей, старой уже, интересуются? Вот я и понасупился, кулаки сжал, сам спьяна покачиваюсь, хотел уж и двинуть, да она тут рассказывает дале:) Вижу, — говорит, — что он кепки не скидает, — скидавай, говорю, головной убор, — ты в хате, не в клубе, — и рукой эдак, отмахиваясь, и сбила с евонной головы кепу. Он было за кепу, — но уже успела я углядеть: на лбе у него вроде небольшие рожки... Тут грохнулась я оземь, а он заскрипит на меня зубами, поцеловал меня на полу, значит — и нет его. Как бы дымом разошелся. А я вот только за полчасика до твоего прихода очнулася.

Ну, недолго после того прожила Дашенька. Родила мне чернавоньку девочку — назвали ее мы на комсомольских октябринах Нинель — это Ленин Владимир Ильич в обратном женском переводе, — а для дому — Ниночкой (так моя сестра ее тайком в церкви в городке одном недальном и окрестила).

А Дашенька то целует, бывало, взасос младеньчика, то отвернется от ее — и шепотит чтой-то — вроде помешанная была: знай, лопочет: моя-твоя-не твоя, моя, мол... Так и померла. И почти ничего не говорила. И на лице ее только глаза и жили. Страшные, как на иконе. Вот, ей-Богу, правда.

1971

## ГИТАРНОЕ

Распахнулась занавеска неба черно-пестрая,
выкатилась жирная луна рассейская,
прокатилась мимо белой колоколенки
и крестом блеснула позолоченным.

Симпатишная луна, дебелая,
да бледна она-вот, хоть личманиста,
но и то сказать: сырая бабища,
и при том степенства нет — гульливая.

Нагуляет жиру — с жиру бесится,
собачню тревожит — воют бедные,
не дает котам покою-роздыху,
наипаче ж — поэтессам и писателям.

А сама по поднебесью шляется,
семенит по темным закоулочкам,
потаскуха неба спелотелая,
мира нóщного постельная забавушка.

А когда вконец поистаскается,
лик веснущатый позатуманится,
похудает, телом поубавится
и в дугу свернется в три погибели, —

в месячное время жисти каверзной
загугнит луна — и плачет, мается,
Богу свечкой пред иконой теплится,
притирается, снадобья пьет и лечится.

И худа ж была — на нитку съехала! —
а гляди — личманистой становится,
округлеет вновь, нальется жиром-мозухом
и бежит со звездами распутничать . . .

Днем же спит луна — не смеет даже выползти,
непотребство сознает свое — стесняется . . .
Я намедни видел ее спящею,
не веселой хохотуньей, не гуляющею, —
за горами, за долами, за околицей.

1924

## АНПИР

Нескончаемая проселочная дорога. Осенние перелески, цветастые как сарафаны деревенских девок. Еду с нищей искусствоведческой и реставрационной экспедицией в старый-старый вечевой город еще дотатарской Руси. Энтузиаст художник и реставратор выколотил какую-то сумму на поездку у скупого и ни черта не понимающего правительства, — и вот мы трясемся на безрессорной мужицкой телеге по ухабам круто извивающихся разбитых проселков, посещая полуразрушенные древние храмы, превращенные в склады или клубы, да редкие сохранившиеся старые усадьбы.

Когда-то великолепный деревянный — под штукатурку — дом с ионической колоннадой ризалита, увенчанный круглым купольным бельведером. Обветшавший, облупленный, хмурящийся на нас своими забитыми досками окнами. И надпись на дверях, что усадьба эта — памятник старины и искусства и находится под охраной государства.

Дверь отворил столь же ветхий старикан, хра-

нитель усадьбы. Маленькие глаза под лохматящимися зеленовато-белыми бровями недоверчиво оглядели нашу разношерстную компанию. Трешка, незаметно сунутая ему в кулак нашим руководителем, немного смягчила недружелюбного стража.

Двухсветный зал, с музыкантскими хорами, коринфская колоннада. В променуарах — чудесная мебель — кресла, диваны, столики маркетри.

— Да это подлинный александровский ампир! — восхитился глава нашей экспедиции.

— Ошибаться изволите, — прошамкал хранитель усадьбы. — Ну, где же ей уцелеть, мебели старой! И в пятом году пограбили усадьбу-то, и в семнадцатом. А потом здесь сельский культпросвет обосновали. Вот, загляните в церкву домашнюю — тут клуб был. Вот, видите, посейчас лозунги не закрашены: «Религия — дурман для народу», да еще стишок:

Долой, долой монахов,
раввинов и попов!
Мы на небо залезем —
разгоним всех богов!

И другие лозунги тоже. Городские властя не велели закрашивать. Говорят: надо, чтобы старое и новое в одном музее совмещалось. В одной експозиции. А мебель нанавезли из музейных запасников, куда ее понаграбили, извиняюсь, насобирали из реквизированных особняков и усадеб. Какая ж

она «александровская»! Ведь как ране наборные столы производились? — весь наборной, значит из разного дерева, рисунок, каждая деталь не вклеивалась на верхнюю доску стола, а врезалась точно, да так, чтобы канальчиков между деревянной мозаикой — она, извольте видеть, у нас «маркетри» называлась, — никак на невооруженный глаз не обнаруживалось. Сам я наследственный мастер-мебельщик, краснодеревец по-нашему, — хорошо знаю дело. Мой барин, — старик опасно покосил одним глазком на нас, — ну, понятно, феодал-помещик и эксплуататор, но дело тоже хорошо понимал. Знаменитый был коллекционер старины. «Федотыч, — скажет, бывало, мне, — а ну, сними со столешницы медную опояску». Вот сымем — и сразу видать: наборной-то рисунок не врезан, а наклеен... Страмота, а не старый фасон работы.

И где ж тут александровский анпир? Ведь тогда было как: диванчики «интим» — только для двоих, прямо впритык, чтоб, значит, даму, простите, задом своим приятно ощущать. Диванчики и диваны семейные, для просторного обсиживания, и для снисходительных сурьезных бесед — на грифонных или львиных лапах золоченых, а то и бронзовых. А еще называемый «дорадор». Самое для анпира отличительное: один мебельный пиес из двух кресел спинками друг к другу — для самого укромного и тайного поцелуя, как говорили тогда. И торшеры настоящие — не составные, а из одной лесины — витые и желобчатые, тоже и с

бронзой когда. Нет, меня не проведешь! И отец, и дед, и прадед мои — все мебельщики-краснодеревцы. На березу карéльскую мы и глазом не вели — не тот класс. И все мы были у бар в чести. Деда даже в Париж посылали на цельных пять лет — у тамошних мебельщиков поучиться. Да только мы перенимать — перенимали, но соображали мебель по-своему, на свой, значит, манер . . .

А дом-то, усадьбу эту, построил еще до Наполеона свой же крепостной архитектор — Петр Нилыч. Хороший был мастер, только злой пропойца. И до девок лаком был. А до того была здесь мыза — еще с самой Елизаветы Петровны, а при Екатерине — ее при царизме называли Великой — жили тут короткое время князь с княгиней. Красавица была писанная, да недолго прожила, всего до двадцати четырех годов. Померла от чахотки. И жизнь у их была недолгая, горячая и тяжкая. Князь-то и княгиня были двоюродными, а в те времена былó такое вовсе недопустимым. Вот и собрались советники да Синод: объявить, дескать, брак незаконным, развесть князя с княгинею — и обоих на покаяние до самой смерти в монастыри. Один Разумовский возражал: как был, мол, князь в фаворе да в силе, так вы на коленках перед им, а теперь, как не в фаворе, как в беде — так ногами его пинать? А ведь даже в кулачном бою (а в кулачках князь-то наш был, ох, как здоров!) есть святой закон: лежачего не бьют . . . Да разве послушались Разумовского! Посмеялись над им только.

Ведь князь — он долго у государыни в случае был, а царица не любила, чтоб даже оставленные ею женились бы . . . Вот и присудили развесть князя с княгинею — и навечно обоих в монастыри . . . Но Екатерина пересилила ревнивость свою: не могу, мол, карать так князя — больно был он мне сладок . . .

Как заболела княгиня-то — совсем почти рехнулся князь. Если и отойдет на час-другой от жены, то только мычит что-то не по-нашему, да вкровь грызет ногти. Оброс, глаза мутные. Повез княгинюшку в Швейцарию, а что с того проку — там и померла его супруга. А князь, сам не свой, воротился на родину, — и так горе его изукрасило, что, ну, совсем ангел Божий, и в глазах страсть и мука. Видать, и горе многих красит. Говорили тогда, что не по душе это стало светлейшему Потемкину: тогда он в случае был. Подумал: увидит царица своего бывшего фаворита, увидит как он стал совсем невозможной красоты, да опять и приблизит нашего князя. Пригласил его Потемкин к себе во дворец, утешает князя, обымает, а сам в вино князю и подсыпал-то яду . . .

В этой зале были и портреты князя и княгини, да председатель сельсовета пожег их, как портреты феодалов и крепостников.

А вы, вот, говорите: александровский ампир! Какое! Все это — подделка, притом не больно мудреная. А я — я-то, товарищи, наследственный мастер-мебельщик. Теперь, понятно, это ни к чему.

Теперь все, говорят, много лучше. Вам, молодым, конечно, виднее. Вот и наш председатель сельсовета тоже говорит, что нынче все стало лучше. А все-таки...

1971

## ЖИВАЯ ЖИЗНЬ

На днях получил письмо от незаурядного поэта: «Мне по душе в твоей книжке стихи 'Приложиться к холодному полу собора'. Но только без строк 'Трудно вынести бремя свободы: мы не Слова сыны, а природы'. Не люблю я философствования в эмоциональных стихах» . . .

Ты прав, дружище. И все-таки: как быть мне, человеку века сего, не видящему непосредственно мир (ну, так, как видит его мудрый, но не умудренный ребенок), а как-никак перегруженному нажитком веков; человеку с современными раздумьями и бездумьями — не философу и не профессионалу стихотворцу, а просто *человеку?* Может статься, *просто* современный человек и не может стать ни философом, ни поэтом — в старом (а, тем более, новом — кастовом) понимании этого слова? Не знаю. Но знаю, что раздумья — в самом-самом прозаическом смысле — стали неотъемлемой частью души — и моей, и всех моих современников. Ну, и бездумье тоже. «Некогда сегодня строить монастыри». Некогда писать и *поэмы,* и романы. Особенно — по старым планам и проектам.

Побывал опять в соседнем Ричмонде, столице Виргинии. Небольшой, но я бы сказал — *изящный* музей. Без натолканности необъятной уймищей вещей, без удручающей научной систематизации школ и жанров. А так, — как будто немногие картины и статуи, шкафы и секретеры, резные кресла и массивные столы расставлены любителем красивого, даже не слишком-то разбирающимся — что к чему и почему. И старички служители, сторожа музея . . . Когда видят, что человек любит и живо интересуется, подводят к картине и неназойливо обращают ваше внимание на чуть заметные детали: то на молодые, только что вырванные из земли, продолговатые и белесые еще луковицы на длинных зеленых стрелках, подносимые Мадонне ангелами — на картине Брейгеля Бархатного, то муху и жучка, до полного иллюзионизма написанных художником из Брюгге на картине «Мадонна на троне — со Святыми» . . .

Да, вот что внесли Нидерланды (отчасти и немцы) в культуру живописи и вообще в культуру: пристальнейшее внимание к природе, к миру вокруг нас — и к домашности, к уюту семейного дома, домашнего огорода. Итальянцы в великолепном своем антропоцентризме как-то не заметили почти — или недостаточно заметили — мир вне нас. Статься может, что слишком великодушно богат и прекрасен мир Италии, — и итальянцы попросту пресыщены избыточной красой своей родины. А

для богатого — что́ его богатство! Он привык не замечать его.

Вот на Севере — иное. Там радует после ветра и стужи очаг, немудрая приветливость не без труда взращенного огорода. Там, особливо в Нидерландах, отвоевавших у моря пядь за пядью родную землю, так заметен каждый кустик ежевики, каждый жучок, каждая мушка — свидетельница наступления теплых дней. А как не живописать море, корабли, целый лес мачт привольной торговой гавани — основы богатства родного города и всей страны! И люди: нет в них открытой красоты итальянского искусства. Или это — насквозь психологические — до некоторой внешней угловатости и некрасивости — раннефламандские Мадонны и купчихи, святые и бургомистры, Спасители и адмиралы; или они — носители бурной радости земного богатства, умелости, сладострастия — брызжущие здоровьем, избытком крови и удачи тела Рубенса и Иорданса; или насквозь одухотворенные — тут уж не до внешней пластической красоты! — люди-идеи Рембрандта . . . Не сладостность Перуджино, не кондотьерская и чуть разбойная мощь Караваджо, а красота выразительности, в мужицком поте Брейгеля, в патологических уклонах и зачастую в подчеркнутом безобразии. Но всюду, всюду — жизнь! И в гористых городках, и райских долинах Умбрии, и на каналах Нидерландов — всюду всецелая жизнь — не на-

думанная и не мучительно, с надрывом морализирующая.

***

Иван Карамазов только мечтал полюбить саму жизнь прежде смысла ее. А в Европе — по-разному, но повсюду — любили эту нашу плотяную, но не зря ведь самим Творцом *материально*-воплощенную жизнь. Любили доброе вино и крепкое пиво, плотный хлеб и красивую плоть женщин, мясную сыть обеда и обильный пот творческого труда. Умели создавать, работать — умели и отдыхать. Мы, русские, все это тоже любили, но стыдились нашей к этому любви, припрятывали ее подальше. Даже в европеизированном русском дворцовом быте — в наших дворцах были великолепнейшие до безвкусия парадные залы — и до убогости неуютные, плохо обжитые спальни — не те, парадные, для утренних приемов, — а вот просто жилые, для того, чтобы просто всхрапнуть взасос. И, сбросив с себя многопудовое парадное одеяние, сплошь залитое золотом и алмазами. Императрикс Анна Иоанновна, скажем, облачалась в засаленный сарафан, повязывалась старым бабьим платком. А уж наши интеллигенты — те просто стыдились признаться в любви к хорошей еде, красивой одежде, уютному двуспальному ложу...

И как поэтому меня обрадовал в небольшом ресторанчике Ричмонда, куда зашли мы после музея,

темпераментный хохотун, стоявший за стойкой бара. Увидав, как долго и тщательно выбираю я вино к обеду, как отвергаю некоторые из предлагаемых им бутылок, он с уважением и даже дружески похлопал меня по плечу.

— Вы могли бы сами быть бартендером!

— Мог бы, — не без самомнения отвечал я. — А вы, — вы из Неаполя, думаю?

— Да, да, — обрадовался хохотун, — из Соренто.

Обрадовался и я: почему знать толк в вине и жарком, в салате и в сырах менее достойно уважения, чем разбираться в стихах, живописи или театре? Почему искусства, радующие глаз или слух — «изящные», достойные восхваления искусства, а искусства, радующие вкус, обоняние — искусства низшего порядка? А у нас ведь чаще всего стыдились любви к жизни и ее благам: Пушкин не стыдился, но ведь он-то был самым нерусским из русских гениев: единственным человеком Возрождения в нашей извечно эсхатологической культуре. За строчки «Онегина»:

Мы только устриц ожидали
От цареградских берегов.
Что́ устрицы? пришли! О радость!
Бежит обжорливая младость
Глотать из раковин морских
Затворниц жирных и живых,
Слегка обрызнутых лимоном. — —

за эти строчки упрекал Пушкина даже такой его обожествитель, как Достоевский. Впрочем, сам Достоевский, как свидетельствует Анна Григорьевна, любил старательно выбирать в лучшей лавке Старой Руссы самые лучшие колбасы и сыры, конфеты и фрукты. И это — безо всякого надрыва. А как творец-труженик, заслуживший право на отдых и изысканный ужин.

Не стыдился и Константин Леонтьев — но с русской неуемной страстностью и даже не без надрыва. Назвал бы еще и Василия Розанова, — но он-то ведь совсем особая статья. И уж никак не интеллигент, слава Богу!

— Вы могли бы быть бартендером . . .

А чем это хуже стихотворца или романиста, художника или актера? Чем искусство *жизни* ниже «изящного» искусства? Ведь чаще всего за «изящными» искусствами прячется совсем не изящная жизнь. Нет, полюбите жизнь *прежде* смысла ее! И тогда и смысл появится, и труд осмыслится, и жизнь украсится, и . . .

Короче говоря: я мог бы быть и бартендером.

1971

# ИСКУШЕНИЯ

Вот лестница возносится до неба —
без всякого начала, без конца:
куда ведет? Откуда? — Нет ответа,
не может быть ответа. Но ступени
исхожены стопами поколений,
обжи́ты стертые и стерты обжитые,
как будто бы шли толпы в эту высь —
и тени позабытых и славнейших,
и робкие следы учеников.
Идут, идут. И падают. И снова
стремятся ввысь, чтоб с хладной высоты
низринуться на алчущую землю,
разбрызнуть жизнь и все свои мечты.
А лестница возносится до неба . . .

1961

## КОНЦЕРТ

*Отрывок*

Дирижерская палочка постучала по пюпитру. Концерт начался. Протяжные торжественные звуки хорала пилигримов. Валторны сурового хорала стараются заглушить причудливо извивающиеся эротические скрипки Венерина грота. Такая привычная, простосердечная, немудрствующая вера! Такая наизусть знаемая увертюра! Но для него нет привычной, детской, простосердечной веры. Тот, кто хоть раз заглянул в грот Венеры, кто в душе своей носит язву лобзаний Киприды, — навеки погиб для домашности и приходского алтаря. Туда, туда — в Рим! И, может статься, тяжкий босой путь странничества и величие престола Наместника Христова выжгут грешные песни и греховную память земной утлой радости.

— Господин Андрей! Сюда... Здесь наиболее укромный и поэтический уголок нашего парка.

Ротонда, плавно изгибаясь около маленького бассейна с золотыми рыбками, ведет в грот. Посреди бассейна амур на дельфине. Пухлое порочное личико немецкого барокко, с отвислыми щеками и

смеющимися глазами сорокалетнего скептика. Одной ручонкой обнимает он шею дельфина, другой, с растопыренными короткими пальчиками, кажет на грот, а сам тонкой блестящей струйкой пополняет бассейн. Между плитами и ступенями ротонды пробивается трава. Скаты бассейна замшились, и черной проказой пятнают мох и трава белые в ясную ночь камни песчаника. Колонны бросают причудливые тени на стены грота и бронзовую Венеру с отбитой рукой и почерневшим от лет и непогоды носом. Не шелохнет. Буки, клены, пирамидальные дубы обступили грот, и лишь изредка хрустнет песок под ногой запоздалой пары, спешащей к смешной готической башенке на холме или к миниатюрным меланхолическим скалам у столь же миниатюрного заросшего пруда. И вся жизнь этой упраздненной около ста лет тому назад миниатюрной резиденции упраздненного карликового государства столь же миниатюрна, столь же ограничена, как этот огороженный высоким забором дворцовый парк, как этот провинциальный Венерин грот, как эти упирающиеся в близкую ограду аккуратно вычерченные аллеи.

— Господин Андрей! Не заставляйте даму дважды повторять свое приглашение . . .

Из дворца, как-то странно и тускло освещенного, несутся звуки клавира и оркестра. То совсем затихающие, то ясно улавливаемые, они доносятся до грота Венеры, и я узнаю большой А-дурный концерт Моцарта. Только странно: это не рояль,

это клавесин или спинет начала прошлого века. Тот же звенящий с дребезжинкой гитарный тон, тот же стеклянный звук приглушенной арфы. Я вглядываюсь в мою даму. Боже! Да ведь она — *Дама с маской*. Еще сегодня, беря билеты на концерт, я решил: до моего поезда — больше часа. Пойду еще раз в галерею. И вот стою — в который раз! — перед портретом малоизвестного художника кассельской школы Иоганна Апелиуса: «Портрет дамы с маской. По старому инвентарю — написан в Париже, в 1753 году». Так написано в каталоге. К черту каталог! Какая лессировка! Как играет кровь под этой тонкой чуть оливковой кожей! И какие глаза: грешные, манящие, преувеличенно-большие, они втягивают в себя вас, и только насмешливо-сладострастный рот с тонковатыми губами немного приоткрывает тайну этих влекущих в пустую и таинственную бездонность глаз. Манящие руки с тонкими удлиненными пальцами. Эти пальцы хорошо знали, как мучительны они для других, сколько в них ядовитой радости, отчаяния и порока! И покатые плечи, плавная линия плеч, желтоватых, с полупрозрачной кожей. Небольшие яблоки грудей, намеренно плохо прикрытых кружевами великолепного платья цвета вянущих фиалок. Красота гофмановских грешниц — кровосмесительниц, убийц, сладострастниц. Но почему она здесь, в гроте Венеры Вильгельмсталя, почему колеблющееся пламя свечей освещает окна давно уже необитаемого дворца, и концерт Моцарта зву-

чит все сильней, и трагическое Анданте сменяет солнечную радость в завершенности своей незаконченного, как жизнь и любовь, Аллегро?

Нет, это не лето. Давно уже погас свет во дворце, и лишь сторожа судачат в одной из комнат флигеля о новых политических новостях и местных сплетнях. А голые деревья качает ветер, снег густо и рыхло покрыл все аллеи, грот, ступени ротонды, — и безрукая Венера зябко кутает озябшие колени в остекленные морозом листья, забитые ветром в грот. А дама стоит подле в черной короткой шубке и говорит о том, что не передашь словами, всегда грубыми и неловкими, когда мужская рука переносит их на бумагу. И вдруг злой, ненавидящий поцелуй, колючий зимний ветер, — и нет Дамы с маской, и на меня насмешливо глядит изуродованная Венера. Но что это? Ее губы раздвигаются, нос морщится, беззрачковые глаза издеваются, и площадная брань хлыстом свистит в морозном воздухе.

Ведьма! Дьяволица! — Скрипки бешено гонятся за мною, хохочут, плюются, лают, старческая ненависть к жизни и радости, уже навеки утраченным, заставляет их изрыгать проклятья, кусать самих себя в ненасытной алчбе немощных сластолюбцев:

— И ты с нами! Ты прожил жизнь в погонях за искусственными радостями, ты любил только нас, плод твоей больной мечты, ты жил в свальном

грехе с нами — и проворонил живую жизнь . . . Ты — наш.

И опять медноголосица хорала. К подножью Наместника Христова был положен и мой посох. Расцвел ли он, как страннический посох Тангейзера?

Звенит тонкий лед пруда. Ветер гудит органом в голых буках и дубах. Черная тень креста легла на Венеру. Затихает вакханалия памяти. И лишь звонко призывают Победителя смерти валторны . . .

— Андрей, слушайте же концерт более внимательно. А то вы выдумываете какие-то пошлые пародии на Гофмана! И что за пошлая мертвечинка?! Откуда эти Венеры-ведьмы и дьявольские портреты, какая-то болезненная слабосильность и раскидчивость мысли — и даже сладострастная упоенность этим слабоволием! — возмутилась Мария.

— Об этом после, Мария. Но всякий из нас любит скорее искусственно образованный идеал, чем откровенно-неприемлемую для большинства подлинную жизнь. Кто-то утверждал, что для нас идеал красоты образован красотками на мыльных обертках и парикмахерскими восковыми манекенами. Мы, впрочем, эстетически более взыскательны — и любим портретную живопись и сонатные звучания, легкую поэтичность скользящих над бездной образов готического романа . . .

Но разве со мною рядом она, Мария? Нет, ско-

рее это — Дама с маской. Но нет, от нее несет смертельным холодом промерзшей бронзы. Ты! Безрукая, но всембгущая, злая Венера-дьяволица!

Тащится босой усталый Тангейзер. И не зарастает язва греховная в душе его, и тщетно ревут трубы и поют Осанну валторны. Осанна не для его духа, растленного искусством, вкусившего от проклятого древа познания добра и зла. Но — расцвел ведь страннический посох его?! Может, воскреснем и мы?

Гул аплодисментов оглушил меня. Я поднял глаза на раскланивающегося дирижера. А Мария спрашивала меня уже не в первый раз: — Андрей, как вам понравились валторны финала? Ведь чудесно провел он увертюру!

Маленький, щуплый и лысоватый, едва-едва касался он клавиатуры. Казалось, это птицы носятся над морем, задевая легкие, набегающие на солнечный берег волны. А, может, это невеста играет на клавире? Тихая улочка Бамберга с фахверковыми домами, зубчатой стеной огораживающими ее. Вторые этажи с фигурными резными балками и гербами выступают вперед, солнце радостно переливается в пузырчатых стеклах окон, над улочкой, на холме — острые башни Св. Михаила и парк епископской резиденции. А из окон дома льются звенящие звуки клавесина, и беленькая пухлая Марихен играет Аллегро господина Моцарта, капельмейстера его высокопреосвященства архиепископа — князя Зальцбургского. Но

звуки все мощнее и шире разливаются в солнечном луче.

Нет, это не Марихен. Нет, это не Мария. Нет. Это — Дама с маской кассельской галереи. Но где же демонический ухмыл тонких губ, странно-влекущий и отталкивающий овал желтовато-перламутрового лица? Она — вся радость, вся любовь. Правы древние, утверждавшие, что медузы, эмпузы и фурии в любви становятся прекрасными и просветленными!

Но над городом собирается гроза. Вражеские истребители кружат над горбатыми мостами стоящей на воде ратуши, гремят устаревшие бесполезные зенитки: смертельно раненый народ еще противится неизбежной смерти. Анданте не элегично: оно трагично в своей вечно незавершающейся и неутолимой скорби. Неужели, о Господи, опять?!

Венера Тангейзера превратилась в вампира. Но Моцарт вознес ее снова на Олимп, и горячая кровь заставила радостно биться сердце его финалов. Но не была ли она лишь гальванизированным трупом? Или сегодня все это лишь мерещится мне? Скорее напиться до потери сознания, до бреда, до галлюцинаций! Нет, ты снова прекрасна, моя Дама с маской! Ты способна исчерпать всю глубину порока, ты способна и к величайшему просветлению! В тебе жизнь и радость, и ты не можешь ловить мгновенные радости сержантского или коммерсантского благоволения. Это ложь! Но что это? Неужели на этом балу ты шепчешь гнусный анек-

дот победителю на выборах? Не может быть! Ты — победительная любовь и мука Берлиоза и Моцарта, Вагнера и Дбстоевского! —

«. . . Я хочу в Европу съездить, Алеша, отсюда и поеду; и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое, на самое дорогое кладбище, вот что . . .»

Кладбище ли? Нет, ведь расцвел-таки посох Тангейзера! Но ты, ты, Мария, ты, Дама с маской — ты ведь на том адском балу, где свечи поют, как скрипки, и глиссандо арфы отсвечивает кровосмешением . . . Бледно-фиалковое платье совсем упало с небольших яблок грудей . . . Это она, она . . .

Моя голова падает в опилки. Треск барабанов не заглушает предсмертного сознания: «Я любил не Альдонсу-Генриетту, а Дульсинею — Даму с маской, Европу-Марию!» Но вскипают в последнем кощунственном танце скрипки. Костями повещалок и шабашем ведьм стучат смычки о деки. Тромбоны и туба кощунственно изрыгают DIES IRAE. И завертелся бешеный хоровод смерти . . .

А все-таки она вертится!

*Программа концерта*

Вагнер. Увертюра к опере «Тангейзер».
Моцарт. Концерт для ф-п. с орк. А-дур, К. 488
Берлиоз. Фантастическая симфония.

1946

## СОБЕСЕДНИК

Отяжелевшее бабье лицо, чуть рябоватое, то покорное, то вскипающее бессильной горделивостью бунтовщика. Каблуки стоптаны окончательно, но это не мешает старательно скрывать небольшое прихрамыванье. Поэтому шажки убыстренные, походка приплясывающая. Уголки кривоватого рта опущены вниз, с навеки застывшей маской мировой скорби:

— Конечно, соотечественник: только русские интеллигенты так растерянно озираются в Вечном Городе, словно ища в его намоленной земле родственную душу . . .

Аккуратно подштопанный, когда-то элегантный черный в белую полоску костюм, сильно побелевший по швам. Но и теперь отглаженный и отчищенный до блеска.

— Вот и Ивану Карамазову признавался, что хотел бы давно проситься в отставку: устал, знаете ли, быть всегдашним минусом к осаннистому Плюсу, быть вечной тенью, необходимой для оттенения Предвечного Света. Ну, кому, скажите, охота быть вечно, навсегда *вторым*, только лакмусо-

вой бумажкой для проявления Добра?! Поневоле взбунтуешься и возненавидишь *Его* . . .

Великий Ориген писал, как вы знаете, что *Он* и меня помилует . . . В последний день, когда сольются в единую и окончательную Осанну все концы и начала. Ведь так — по справедливости, по логике душевной, что ли — и следует: ведь не будь меня — кто бы смог как-то отличить черное от белого, истину от лжи, добро от зла? Не было бы никакой диалектики бытия — да и ничего бы вообще не было: никакого движения, никакого изменения, никакого *действия,* — а ведь «что не действует, то не существует». Так за что же меня, изначального *спорщика,* изначального, если хотите, alter ego *Его,* — казнить и изничтожать? Справедливо ли? Думаю, что прав Ориген. Но одного не учел он: а приму ли я *Его* прощение и пощаду?

Вы, мой милый, типично по-русски ущербны по части языков: немырь. Объясняетесь больше знаками. Ну, а я — я просто влюблен во всяческую филологию. Я ведь вечный *собеседник.* Вдумайтесь только в это слово: в нем — целая диалектика — и мысли, и бытия: *со-бес-едник.* Ведь хорошая беседа предполагает спор, противодействие. Иначе — скука. А где спор — там и я. И всякий со-бес-едник — воедино со мною. Так-то. А вы вот: «жарить скупердяев не легко ведь» . . . Разве ж только это? А века веков «стоять укоризной» перед торжествующим Светом? Легко ли? То-то. Эх, я скорее не дух зла, а — это вернее! —

усталости и уныния... Но, с другой стороны — не только «пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит», — а и дух волевого напора. Думаю даже, что ближе подошел ко мне не Федор Михайлович, а Михаил Булгаков: его Воланд (ведь Воланд — от volo, а volo — начало всяческого существования, всяческого я, всяческого *обособления* от *Него*) с одним глазом зеленоватым (цвет *надежды!*), другим — могильно-черным (небытие!) — это больше уход в Ничто от неизбывных страданий, чем прямое зло.

Ну, да я зафилософствовался, а мне, увы, пора на работу... А как я устал, дорогой мой! И вот — подагра... А все меня подгоняют: работай, искушай, приводи в движение мутную заводь душ человеческих: иначе вода застоится, заболотится. А я-то здесь причем?!

Я ведь вас сразу узнал, дружище. Это вы, русский эмигрантский поэтик, по-своему все-таки пожалели меня. Вот в этом стишке, что я уже упоминал:

Жарить скупердяев не легко ведь —
черт присел на бочку из-под сала:
без конца — без краю ада овидь,
много грешников, чертей же мало.

Ноют кости старые с устатка,
обросла седой щетиной морда:
старость съела силы без остатка,
дряблый хвост висит отнюдь не гордо.

Адовый сквозняк и льдины-призмы,
в спину дует, а у печки жарко,
скрючили кобытца ревматизмы, —
не поможет старому припарка.

Ну, так что ж! — Сменить установленья
он не в силах, видно, до скончанья.
И кряхтя бросает в печь поленья,
умножая общие страданья . . .

Ну, что ж!? Ведь нам даже профсоюз свой нельзя основать: мы ведь по самой сути своей — анархо-индивидуалисты . . . Вот и страдай в особицу, обособленно от всех . . . А иной раз — ох, как хочется поплакаться в жилетку. Да что — разве поймут мою скорбь и мое вечное отъединение . . .

Собеседник безнадежно махнул рукой. Я заметил, что локоть левого рукава был протерт до непристойности: левша, конечно. Так и есть.

Видимо, стыдясь нищеты, он надвинул на высокий лоб полинялую фетровую шляпу с баварским глазастым перышком, небрежно кинул какую-то мелочишку на чай — и растворился в жарком воздухе июльского Рима.

1972

## «ЯВЛЕНИЕ»

### (Николай Клюев)

*Лесному Зверю*

Начало февраля или марта — уже не помню точно — 1924 года. Москва того времени — все еще розовощекая, хотя и задебелевшая, с обвисающими мясами купчиха. Апогей нэпа. Витрины пестрят веселыми ситцами и муслинами, согревают голодный студенческий глаз переливами тяжелых бархатов и сукон, глубокой мягкостью мехов, отутюженной картонностью распяленных на манекенах костюмов. А развратнейшая сдобь и сыть булочных и колбасных, кондитерских и белых с голубым, кафельных молочно-продуктовых магазинов! Но это, конечно, не для нас, студентов, проездом остановившихся в Москве — на пути во вдовствующую невскую столицу. Хочется ведь попасть и в Художественный Второй — на «Двенадцатую ночь» или «Гамлета» с Чеховым, хочется и порыскать у букинистов на Моховой, и в книжных частных магазинах: в одной Москве тех дней

было свыше ста хотя и карликовых, но не государственных издательств. Поэтому на еду, в сущности, не оставалось больше двугривенного. Но на Сухаревке можно было купить за пятак огромный, распластанный желтым горячим великолепием в сразу промасливающейся бумажке пирожок с печонкой и луком, а в ларьке купить за пятак же кус свежего хрустящего ржаного хлеба с далеко не свежей, но обжигающей нёбо вареной поджаренной колбасой. Чего же еще? А затем — по Москве, еще колокольной и с толпами у Иверской, еще с комсомольским пылом борьбы с галстуками — и с извозчиками, по старой привычке подкатывающими к получше одетым: «Повезти прикажете, господа?»

Ночевка мне и товарищу обеспечена: у моей дальней родственницы, Тоси, еще недавно распевавшей в глухоманном южном городке «И может быть, в притоках Сан-Франциска, лиловый негр вам подает манто». Теперь она — комсомольский работник, жена племянника или двоюродного брата Ворошилова, не раз побывавшего уже в качестве военного атташе в тогда немногочисленных признавших СССР странах. Сейчас ее муж — курсант Военной академии, руководимой Фрунзе, они живут в отдельной комнатенке общежития курсантов, муж в отъезде, и нам можно переночевать у Тоси.

...Но когда мы — около полуночи — ввалились в комнату Тоси, после «Двенадцатой ночи», — оказалось, что вернулся муж, да еще привел с

собой поночевщика — своего приятеля, приехавшего в командировку в Москву. Увидев наши вытянувшиеся физиономии, он рассмеялся.

— Ну, не тушуйтесь, ребята. Как-нибудь разместимся — на полу места хватит . . .

На расшатанном столе — водка и рябиновка, колбаса и сыр, ломти хлеба. Всё — прямо на клеенке, на всю компанию — две тарелки, две вилки и один нож.

— Как поездишься по России . . . — начал командировочный.

— Какая там *Россия?!* — возмутилась Тося. — Ну зачем такие слова, когда есть хорошее и краткое — РСФСР . . .

— Дура, — оборвал ее муж, — дура в цвету: не читала, что ли, что́ написал недавно Троцкий о Владимире Ильиче? Так и назвал свою статью: «Ленин как национальный тип». И стихи Клюева привел:

Есть в Ленине керженский дух,
Игуменский окрик в декретах,
Как будто истоки разрух
Он ищет в Поморских ответах.
Мужицкая ноне земля . . .

— Ленина не трогай, — прервала мужа Тося, — и Клюева ты мне не читай: мы прорабатывали о нем с семинаре: Клюев — явление . . .

— Что-о? — наступился муж. — Я-в-л-е-н-и-е??

— Ну да, явление, как это там, кулацкого пе-

рерождения феодально-патриархальной деревни и...

— Ох, и связалося я на свою голову с дурой... «Явление, явление!» Да ты понимаешь, что говоришь? Эх, ребята, — обратился он к нам, — стоит побывать за границей: вот тогда и поймешь, что кто бы ты ни был, а все-таки, в первую голову — русский... Как это у Клюева: «Уму — республика, а сердцу — матерь-Русь...

— Великорусский шовинизм, сказал Ленин, есть явление...

— Замолчи ты, «явление»!..

А через месяц, уже не в Петрограде, а в Ленинграде, на квартире у поэта Владимира Р., мы слушали самого Клюева. Лицо умного мужика, но не пахаря, а скорее мастера-умельца, такого сельского плотника-зодчего, что без единого железного гвоздя сможет повыстроить многоглавую церковь в Кижах, или мастера железного или гончарного художества. Очень уж потертый кафтан и шапка гречневиком, огромный староверский медный крест на груди. Маскарад? Да перед кем ему, Клюеву, сейчас ломать комедь? Перед будущим большим ученым-ориенталистом З., ходившим весну, лето и осень босиком на лекции; перед Ксаной, не снимавшей апостольника, тайной послушницей тайного скита на Охте — и студенткой коммунистического института; перед мужиком коммунистом Г., ходившим на лекции в Горный институт в прокисшей латанной шинели и старых галифе, в

разбитых ботинках — оба не левую ногу? Мы все были одеты — кто во что горазд, и моя, например, толстовка из цветной плотной гардины не привлекала ничьего недоуменного взора. Нет, одежа Николы Клюева не казалась нам никак — никакой костюмировкой.

Счастье бывает и у кошки —
Котеночек — пух медовый,
Солнопек в зализанной плошке,
Где звенит пчелой душа коровы.
Радостью полнится и рябка,
Яйцом в пеклеванной соломе,
И веселым лаем Арапка
В своей конуре — песьем доме.
Горем седеет и муха —
Одиночкой за зимней рамой . . .

Вкусно окающий несколько карельский рот под свисающими усами энергичного унтера. Певучие строки вьются и свиваются с колечками крутой махорки: форточка открыта, но дым не весь сразу вытягивается во двор-колодец василеостровского шестиэтажного дома.

Счастье быть коровой, мудрой кошкой,
В молоке ловить улыбки солнца . . .
Погрусти, мой друг, еще немножко
У земного, тусклого оконца . . .

За чаем, скромнейшим студенческим чаем с дешевым печеньем, жидко разложенным на таре-

лочке, разговор о «Философии общего дела» Федорова. Клюев, прихлебывая обжигающий чай, купая в стакане усы:

— Не против города и Запада я, а против разделения китайской стеной духа и материи, души и плоти, мысли и делания. Вот, как у Федорова: он ведь кругом прав: коли разделились так у нас труд и мысль, идея и дело, все науки и искусства не хотят друг дружку знать, — то и получается, как говорил он: при таком разделении психология не была душой космологии, то есть была наукой о бессильном разуме, а космология — наукой о неразумной силе. А все — от злой силы *небратства.* Искусство, поэзия все-таки выше пока, чем научное знание: все-таки говорит о целом и живом, а не о частичном и отгороженном. Но и они начинают атомизироваться. А ведь мир и я — одно: не я поглощаю собою мир, ни мир поглощает меня: одно ведь это, и лишь раскрывается как я и не я — в истории, в моей жизни — и в веках. В любви материнской, в соитии любовном, в блуде и святости, в порождении —

Есть град с восковою стеной,
С палатой из титл и заставок,
Где вдовы Ресницы живут
С привратницей-Родинкой доброй,
Где коврик моленный расшит
Субботней страстною иглою,
Туда меня кличет Оно
Куличневым, сдобным трезвоном

Христом разговеться и всласть
Наслушаться вешних касаток,
Что в сердце слепили гнездо
Из ангельских звонких пушинок.
То было лет десять назад,
И столько же весен простудных,
Когда, словно пух на губе,
Подснежная лоснилась озимь,
И Месяц — плясун водяной
Под ольхами правил мальчишник,
В избе, под распятьем окна
За прялкой Предвечность сидела,
Вселенскую душу и мозг
В певучую нить выпрядая.
И Тот, кто во мне по ночам
О печень рогатину точит,
Стучится в лобок, как в притон,
Где Блуд и Чума потаскуха, —
К Предвечности Солнце подвел
Для жизни в лучах белокурых,
Для зыбки в углу избяном,
Где мозг мирозданья прядется.
Туда меня кличет Оно
Пророческим шелестом пряжи,
Лучом за распятьем окна,
Старушьей блаженной слезинкой,
Сулится кольцом подарить
С бездонною брачной подушкой . . .
. . . То было сегодня . . . Вчера . . .
Назад миллионы столетий . . .

И задача наша, и цель наша — история, не как мнимое воскрешение в *воспоминании* только, а как прямое воскрешение во плоти и в духе всех отцов и матерей наших . . .

А когда Клюев начал свое:

Заблудилось солнышко в корбах темнохвойных,
Износило лапчатый золотой стихарь:
Не бежит ли красное от людей разбойных,
Не от злых ли кроется в сутемень да в марь, —

молодой литературовед Б. воскликнул:

— Да ведь так смело никогда не писал Маяковский. Куда ему!

Старательный студент словесник поддакнул:

— Да, примечательное и характерное *явление* . . .

***

Вот и не хочется говорить об *явлении*. Ну, какое поэт — явление! Поэт, если он поэт, это нечто неповторимое, совсем личное, никакой не тип. Разве что Явление в том смысле, в каком говорится о *явленной* чудесно Иконе, или, как у Клюева — об иконе ж — в «Погорельщине»:

Явленье Иконы — прилет журавля, —
Едва прозвенит жаворонком земля,
Смиренному Павлу в персты и зрачки
Слетятся с павлинами радуг полки,
Чтоб в роще ресниц, в лукоморьях ногтей

Повывесть птенцов — голубых лебедей, —
Их плески и трубы с лазурным пером
Слывут по Сиговцу «доличным письмом».
«Виденье Лица» богомазы берут
То с хвойных потемок, где теплится трут,
То с глуби озер, где ткачиха-луна
За кросном янтарным грустит у окна.
Егорию с селезня пишется конь.
Миколе — с крещатого клена фелонь,
Успение — с перышек горлиц в дупле,
Когда молотьба и покой на селе.

Вот так внешний красочно-материальный мир претворяется в мир духовный, вот так и внутренний творческий дух песнопевца или иконника *является* в мире внешнем. Плотское, даже просто и в прямом смысле плотское («во плоти дано мне жало») перерастает в победу над тленностью — через приобщение к душе мира, к Земле-Богоматери.

О, русская сладость — разбойника вопь —
Идти к красоте через дебри и топь,
И пестер болячек, заноз, волдырей
Со стоном свалить у Христовых лаптей!

Плотская сладость — даже несмотря на некоторые особенности личной жизни Клюева — както органически сливается с его религиозным приятием мира. А в его «Песнях из Заонежья» — откровенность чисто народная:

Малец кладочку долбил,
Долотёшко притупил,
На точило девку милу
Ненароком залучил.

Я не ведала про то,
В моготу ли долото,
Зарудело, заалело
Камень — тело молодо . . .

У малинова куста
Нету плодного листа,
Ах, в утробе по зазнобе
Зреет ягода густа.

У Клюева краса мира плотно совокуплена с девичьей и бабьей красой: у него «вербная кожа девичьих локтей», зимние высокие снега — сосцы родимые,

Роженичные ж боли — спицы,
Колесо мученицы Екатерины . . .

Нет у Клюева воспевания аскетического богоискательства: или плодоносящая страсть, порождающая и множащая жизнь — или верх особой страстности: хлыстовство и «третья печать» — скопчество:

И долго я гостей искал:
«Любовь, явись! Бессмертье, где ты?» . . .
«В сердечных далях теплим светы» . . .

или еще определеннее:

О скопчество — венец, золотоглавый град,
Где ангелы пятой мнут плоти виноград,
Где площадь — небеса, созвездия — базар,
И Вечность сторожит диковинный товар . . .

Но все же чаще, много чаще и настойчивее:

. . . Пречистей лебяжей души
Шамановы ярые уды.
Лобок — желтоглазая рысь,
А в ядрах — по огненной утке, —
Лишь с Солнцевой бабой любись,
Считая лобзанья за сутки.

Авторское «я» совершенно нераздельно с миром, понимаемым как огромное, всеобъемлющее «Я», причем я — духовно-телесное:

«Я здесь», — ответило мне тело, —
Ладони, бедра, голова, —
Моей страны осиротелой
Материки и острова . . .
. . . Но дальше путь, за круг полярный,
В края Желудка и Кишек,
Где полыхает ад угарный
Из огнедышащих молок . . .
. . . Здесь Зороастр, Христос и Брама
Вспахали ниву ярых уд,
И ядра — два подземных храма
Их плуг алмазный стерегут.

Но и для солнечного мага
Сокрыта тайна алтарем . . .

Земля — Богоро́дица, земля — хлебородица, не умопостигаемая, а именно вот эта плотская земля — она же и духовная отчина, иногда и не больно богатая, но всегда *своя:*

Меж тучных глухих и скудельных земель
Есть Матерь-земля, бытия колыбель,
Ей пестун Судьба, вертоградарь же Бог,
И в сумерках жизни к ней нету дорог.
Лишь дочь ее, Нива, в часы бороньбы,
Как свиток являет глаголы Судьбы . . .

Земля — живая жизнь, она —

Сад белый восковой и златобревный дом —
Берестяной предел, где отрок Пантелей
На пролежни земли льет миро и елей . . .

Это чувство Земли, как Праматери и великого единого существа — чисто народное русское чувство. Вспомните слова старицы в «Бесах» Достоевского: «Богородица что́ есть, как мнишь? — Великая Мать, отвечаю, упование рода человеческого. — Так, говорит, Богородица — великая Мать сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость. И всякая тоска земная, и всякая слеза земная — радость нам есть . . .» Земля — Богородица, земля — Христородица — эти мотивы и в произведениях Достоевского, и в «Сказании о

Невидимом граде Китеже» Римского-Корсакова-Бельского, и в древних Софийских храмах Руси, — и у хлыстов (христов): «Христовщина» — корабль верных: Христом становится всякий — Христос — не только историческая личность, но и *явление Богочеловека,* не только Иисус Назорей, первый воскресший во плоти в Истории, но и предел духовного возрастания человеческого духа, духа святотворческого. Так и Богородица — не только историческая Дева Мария: это предел духовного возрастания Женского, Земного начала — начала порождающего, вынашивающего. Отсюда — «хлыстовские» (просторечие: надо — «христовские») Богородицы... Какие-то таинственные нити связывают эти представления наших хлыстов (а отчасти и народно-православные предания) с гностиками и Востоком. И Клюев, даже в минуты духовного и поэтического падения своего, не прерывал окончательно с этой традицией: даже в «Красной песне» 1917 года он восклицает: «Богородица наша землица!»

«Христовщина» — предельное возрастание снизу — и дар, ниспосылаемый свыше, в помощь подымающимся по лествице духовного творческого подвига-возрастания. «Богородица-землица» — предельное возрастание снизу и дар свыше. У Клюева, как и у русских мистических сект, до физиологической осязательности даны и *женское* (именно не девье, а материнское) начало *Бого- и духовоплощения,* и *мужское* начало *зарождения:*

два нераздельных и неслиянных начала *оплодотворения* и *плодовынашивания — порождения*. Наиболее яркий и плотяно-осязательный символ соития этих начал — *материнство* и *нива*. Наиболее высокая цель — *воскрешение*, полное, во плоти, преодоление *смерти:*

Ты взойди, взойди, Невечерний свет,
С земнородными положи завет!..
... Не желтели бы травы тучные,
Ветры веяли б сладкозвучные,
От земных сторон смерть бежала бы,
Твари дышущей смолкли б жалобы...

---

И Единое око насытится зреньем
Брачных ласк и зачатий от ядер миров...
... Роженица-земля, охладив ложесна,
Улыбнется Супругу крестильной зарей...

В своих хлыстовских «Братских песнях» (ведь Клюев недаром был официальным гимнографом-песноцевцем хлыстов и бегунов: «Давидом Христовского Корабля») поэт возглашает:

Избежав могильной клети,
Сопричастники живым,
Мы убийц своих приветим
Целованием святым...

«Что такое история? — вопрошает в «Философии Общего Дела» Николай Федорович Федоров:

— Чтобы не ввести произвола в определение истории, чтобы не принадлежать ни к какой партии ... и, главное, чтобы не присвоить себе права полагать границы труду человеческому, нужно сказать, что история есть всегда *воскрешение,* а не *суд,* так как предмет истории *не живущие,* а *умершие,* и чтобы судить, нужно прежде воскресить, — хотя бы и не в прямом смысле, — нужно воскресить их, умерших, то есть понесших уже высшую степень наказания, смертную казнь. Но для мыслящих — история есть лишь словесное воскрешение, воскрешение в смысле метафоры; для одаренных воображением история есть воскрешение художественное, для тех же, которые сильнее чувствуют, чем мыслят, история будет поминовением, плачем, или представлением, принимаемым за действительность, то есть самообольщением». И Федоров призывает к *общему делу* всего человечества — духовному подвигу и цели истории: воскрешению всех прежде почивших отцов и братьев наших. Наука много сделала для усовершенствования средств *убиения*: неужели духовные силы человечества не могут быть целенаправлены на достижение, практическое достижение *бессмертия и воскрешения?* Федоров, в согласии с русской народной традицией, утверждают: *могут.*

Покинула гроб долгожданная мама,
В улыбке — предвечность, напевы в перстах ...
Треух у тунгуза, у бура — панама,
Но брезжит одно в просветленных зрачках:

Повыковать плуг — сошники Гималаи,
Чтоб чрево земное до ада вспахать,
Леха за Олонцем, оглобли в Китае,
То свет неприступный — бессмертья печать.

И в глуби всего исторического — и личного-единичного, и всеобщего-всебытийного — процесса — *свобода,* ибо в чем бы был тогда подвиг духовного возрастания, подвиг *вбогаврастания* (становления «Христом») — если он не основан на *свободном* решении *свободного* человека? Скопцы и хлысты поют (это уже не клюевская, а старая их песнь):

Возопием, братие,
Мы устами духа:
Услыши нас, Господи,
Не затвори слуха!
Сотворивый разумом
Весь мир, всю природу,
Даруй нам, рабам Твоим,
*Вечную свободу.*
Да внемлем словам Твоим
*Разумным* слухом,
И летим к Тебе, Боже,
*Свободным* духом . . .

Революция порушила становой хребет *быта,* то есть начала земляного, плодовынашивающего, *избяного, домостроительного* материнского. Но эта самая революция, разгулом смерти, умерщвления,

хаоса, заставила *очнуться* мужское начало: дух, свободолюбие, чадо- и домолюбие: любишь больше и глубже, когда теряешь. И любишь — *свободнее.* Кощунство выше религиозного равнодушия, блуд лучше импотенции, разгром здоровее гниения с жиру и с безделья, — и все это побуждает к *воскрешению Дома, Народа, Жизни.* Пусть же:

На божнице табаку осьмина
И раскосый вылущенный Спас,
Не поет кудесница-лучина
Про мужицкий сладостный Шираз.
Древо песни бурею разбито,
Не Триодь, а Каутский в углу.
За окном расхлябанное сито
Сеет копоть, изморозь и мглу . . .

Но ведь зажирели и обезбожились — разве Вера и Бог — жирные посты и бытовое, только бытовое «Господи помилуй!», разве творчество жизни — «богоискательство» после до отвала житейской суеты? И вот:

Россия плачет пожарами,
Варом, горючей золой,
Над перинами, над самоварами,
Над черной уездной судьбой . . .
. . . Россия плачет распутицей,
Листопадом, серым дождем
Над кутьей и Троеручицей
С кисою, с пудовым замком . . .

Зато воскресают и множатся ищущие Града Невидимого, и в избах, в которых гармоника выпевает «Накинув плащ, с гитарой», в которых мат богохульствует — и пошлость правит тризну над Сириным с крылом подбитым, в углу запечном слышатся разговоры бегунов и странников:

«Откуля, доброхот?» — «С Владимира Залес-
ка...»
«Сгорим, о братия, телес не посрамим...»

Зато в холоде и голоде возникает отношение к *материнской-материальной* ипостаси жизни, как к насквозь духовной, священной, и кончается болезненное разделение бытия на дух и плоть, душу и материю: в великом акте *материнства* распадаются цепи рабства-смерти:

Там, Бомбеем и Ладогой веющий,
Притаился мамин платок,
О твердыни ларца, пламенеющий,
Разбивается смертный поток.
И над Русью ветвится и множится
Вавилонского плата кайма...
Возгремит, воссияет, обожится
Материнская вещая тьма!

Ведь в узилище познается полная свобода, только смертью попирается смерть, только в голоде и холоде воскресает угасшая в преизбыточестве тяга к *приобщению к хлебу и вину, к материнскому лону и дому:*

Умирают звезды и песни,
Но смерть не полнит сумы, —
Самоцветный лебедь Воскресни
Гнездится в недрах тюрьмы.
Он сосцев девичьих алее
Ловит рыбок — чмоки часов . . .
Нож убийцы и цепи злодея
Знают много воскресных слов . . .

Вот потому и восклицает поэт: «Не хочу коммуны без лежанки, без хрустальной песенки углей!», — вот потому и кричит о революции, в противовес (но разве истина — в одном «да» или «нет», — разве не в противоречиях — истина?) тому, что разрушая, она порождает:

Теперь бы герань на окнах,
Ватрушка, ворчун-самовар,
В зарю на речонке и копнах
Киноварно-сизый пожар.
Жизнь, как ласково-мерная пряжа
Под усатую сказку кота . . .
Свершилась смертельная кража,
Развенчана Мать-красота!

А «красота спасает мир» не только у Достоевского и Константина Леонтьева. Великая, действенно-творческая красота самой *плоти* мира — не в книгах и картинах по преимуществу, а в самой жизни — во всей ее просветленной обыденности. Важно, чтобы только сам я относился к жизни, как к святыне, благословлял ее:

Ангел простых человеческих дел
В избу мою жаворонком слетел,
Заулыбался печь и скамья,
Булькнула звонко гусыня-бадья,
Муха впотьмах забубнила коту:
«За ухом, дяденька, смой черноту!»
Ангел простых человеческих дел
Бабке за прялкою венчик надел,
Миром помазал дверей косяки,
Бусы и киноварь пролил в горшки,
Посох врачуя, шепнул кошелю:
«Будешь созвучьями полон в раю!..»

И вся жизнь благословлялась бы во всей ее полноте и простоте, не скудности, но богатстве, простоте полноты и чадородия, и плодородия:

А Егорий Поморских писем
Мчится в киноварь, в звон и жуть,
Чтобы к стаду волкам да рысям
Замела метелица путь.
Чтоб у баб рожались ребята
Пузатей и крепче реп,
И на грудах ржаного злата
Трепака отплясывал цеп.

И куда бы ни шла История наших дней, куда бы ни вела революция, но исконного, поддонного, божественно-плотяного, материнского и отеческого в жизни — не порушить. Особенно — в деревне, где люди ближе к Земле. И что бы там ни было, а в результате все-таки —

Будет, будет стократы
Изба с матицей пузатой,
С лежанкой-единорогом,
В углу с урожайным Богом . . .

Пусть порушена старая крепкая быть, пусть обезбожена жизнь и в самых крепких староверских селах и погостах, ведь и там —

Гляньте, детушки, за стол —
Он стоит чумаз и гол;
Нету Богородицы
У пустой застолицы! — —

но все-таки, сквозь гарь самосожжений, сквозь вопли политграмоты, смерти и поругания — остается нечто нетленное, просвечивающее сквозь новомодные одежки и новонажитые струпья: осталась поддонная Русь. Только найти его нелегко — по терниям и острым камням, через непролазные топи и трущобы идти надо к Заповедному Граду незакатной Руси:

Где ты, город-розан, —
Волжская береза,
Лебединый крик,
И ордой иссечен,
Осиянно вечен,
Материнский Лик?!

Это не Русь только постников и столпников, тяжкого труда и замкнутого, отгороженного от всего мира быта: нет, у Клюева даже чрезмерно ши-

рок разворот русских объятий: и Китай — и Чикаго, и Конго и Европа Лоэнгрина — в хороводе всесветного братства зырянин подает руку ирландке. Нет, у Клюева жизнь вся проникнута искусством и красою, вся богатырская, и его русак — не схимник:

Эво, как схож с Коловратом
Кучерявый, плечо с накатом,
Видно, у матери груди —
Ковши на серебряном блюде!

. . . . . .

Комната Клюева в уже Ленинграде: кивот в полстены с драгоценного письма новгородскими и строгановскими иконами. Цветные огоньки лампад. Дубовый плотницкого дела стол — и такие же лавки по стенам. На столе — книги. Тут и старописные «Смарагды» и «Виноградыы», и старопечатные, и новейшие философские увражи, и тоненькие книжонки самоновейшей поэзии.

Клюев рассказывает нам, как он странствовал по монастырям Севера:

— Стыдно, Борис, не побывать в Кирилловом да в Ферапонтовом. А какие там фрески Дионисия! Побывай, голубь, пока не порушена древняя святыня... А путь каков из монастыря в монастырь! Каналом узким-преузким — чуть пароход за берега не цепляет... И красота, и небо — такое далекое и нежное... Красив, ох, как красив наш Север! —

Нерукотворную Россию
Я — песнописец Николай,
Свидетельствую, братья, вам.
В сороковой полесный май,
Когда линяет пестрый дятел,
И лось рога на скид отпятил,
Я шел по Унженским горам.
Плескали лососи в потоках,
И меткой лапою с наскока
Ловила выдра лососят.
Был яр, одушевлен закат,
Когда безвестный перевал
Передо мной китом взыграл.
Прибоем пихт и пеной кедров
Кипели плоскогорий недра,
И ветер, как крыло орла,
Студил мне грудь и жар чела.
Оледенелыми губами,
Над россомашьими тропами,
Я бормотал: «Святая Русь,
Тебе и каторжной молюсь! . .
Ау, мой ангел пестрядиный,
Явися хоть на миг единый!»

И чудо — *явилась* эта поддонная Русь . . . Явилася, когда разбилось в кровь, в куски грешное сердце мое . . . —

. . . А *грех* — он стоял тут же рядом — ближайший грех-друг Клюева, молодой художник К. Было такое и у Платона, и у Шекспира? Да, но онито не воспевали *так*, именно так, как Клюев, ма-

теринское и мужнино, заповедно-брачное, не пели гимнов плодоносящей силе жизни, Земле-родильнице. Они не знали, по крайней мере, *такого* внутреннего разлада... Ну, что же. Много и других разладов было в душе и творчестве Клюева. Было много и просто падений наотмашь, просто в непролазную грязищу. Но были и взлеты — и не в холодную умопостигаемую высь, а в такое жаркое, и духовное — и плотяное, что у непривычного человека дух захватывает. Это тебе не сусаль и сентимент Есенина, не — да что говорить! Но поэт большой — и с большой трещиной. Но хоть и с большой трещиной, но подлинно большой. Прочитайте его — о поэте почти невозможно писать, даже сильно его цитируя: лучше его просто читать.

Эти строки не дали представления о поэте? Должно быть, так. Но если и больше напишешь, все равно всего не опишешь. Не говорить же опять — о «явлении»...

1964

# ПЫЛЬНОЕ СОЛНЦЕ

Радостно встречай утро обновления,
ветер, листву осеннюю разметающий,
будь листом отлетающим, птицею перелетною —
вить гнездо свое тебе нет уже времени.

Позабудь про все, коли все забудется:
сбереги лишь улыбку губ неулыбчивых,
голос песенки, скорбью надтреснутый,
да уголек от костра отгоревшего.

1961

## ПЫЛЬНОЕ СОЛНЦЕ

Вне времени. Пусть иней на висках.
Седому сердцу бой часов не нужен.
Дробит нога ледок застывшей лужи,
И поцелуй смеется на устах.

Проснешься, бывало. Сквозь шторы — темные, оливково-зеленые — пробивается весеннее солнце раннего-раннего утра. И твое пятилетнее сознание так непосредственно и ярко отзывается на эту вот все расширяющуюся полосу золотого света, в которой пляшут, поют, усмехаются солнечные пылинки. Целый миллиард этих пылинок — огромное пыльное солнце, не запыленное, а именно пыльное, и каждая пылинка кажется неповторимой, по-своему улыбающейся, рассказывающей тебе свою особую, только ей одной принадлежащую самую-самую интересную историю.

И вот уже седые виски склоняются над чертежами новой системы опалубки железобетонных перекрытий, артритические пальцы дятлами прыгают по пишущей машинке, сообщая ей о новых областях применения пенобетона. И — вдруг и неожиданно — мелькнет в тусклом сознании, если

не отжившего, то много, слишком много пережившего — золотой луч солнца — весь в алмазной россыпи пылинок, — и хочется закрепить этот миг навеки, чтобы пыльное солнце не закатывалось в усталой душе, а — в меру сил душевных и способностей твоих еще переживать что-то . . .

Что именно? Пожалуй, теперь вот так — вживаться уже не в свою только особную, а чужую жизнь, но вживаться-то не слишком: куда нам с посконным рылом в суконный ряд! — а хотя бы слегка касаясь этой чужой жизни и чужой души. Чтобы хотя на последях еще и еще насладиться пляской этих пылинок, неповторимых и всегда-всегда до конца непонятных другому.

Иногда приходят ко мне такие же одинокие души. Вспоминают давнее и вчерашнее, делятся сегодняшним. И если я и передаю нередко их рассказы как бы от своего, простите, их имени, то знаю, что все эти рассказы вольно или невольно окрашиваются в мой цвет, интонируют на мой лад. Что же поделаешь? У каждого свой луч как утреннего, так и вечернего солнца, и другие пылинки — ты ведь тоже одна из них! — неизбежно освещаются твоим лучом. А твой луч — ведь тоже не твой только: он — луч всем нам общего солнца. И ты не можешь передавать все, даже все тобою пережитое, как свое. Но не имеешь и права, чаще всего не имеешь, — писать в третьем лице: где у тебя-то, подмастерья, способности к перевоплощению! Где уж нам, дуракам, в лаптях с

подковыркой ходить: мы и в лыковых-то в кулак сморкаемся.

Вот ходит ко мне один одышливый и лысоватый инженер. Целый день торчит он у чертежного стола — с английским диалектом он совсем не в ладах, — приходится работать чертежником-конструктором, — а на душе у него муторно: как-то там, в далеком русском Бруклине скучает и страдает запертый в холостяцкой комнатке его, инженера, дружище: псина из породы кабсдохов. Подобрал он его, беспризорника, на улице, и теперь так с ним уроднился, что все помыслы Ивана Александровича со всклокоченным Рябошапкой. Назван был пес этим кубанским именем в память фронтового товарища — не пса, а инженера, понятно, — кудлатого капитана из колхозных бригадиров майкопщины. И лаял-то Рябошапка почти как капитан.

Как вдруг брюхастый и брюзжащий Иван Александрович стал таскать мне стихи. Он, которого и в глаза и за глаза звали совсем неграмматическим прозвищем — «старый дев», — он... стихи. Стишки паршивые, но примечательные настолько, что даже приведу их вам: не мне одному морщиться от не своих виршей:

Он любил ее нежно, нежно
Девочку с тонкой косой...
Вы ищете рифмы «снежной»? —
Она и была такой.

Снежная, лебедь белый,
Рябина брызнула в лик.
Тонкое девье тело.
А он — почти старик.
Ах, зачем так всегда бывает,
Что нежность идет на слом?
Над ним, склонясь, рыдает
Прабабушкин ветхий дом.
А девочка — на выказ зубки,
Смеялась всегда невпопад,
Красила тонкие губки —
На что ей глухой листопад?
И в приступе нежности-жажды,
Забыв про глухой кавардак,
Старик удавился однажды,
Забравшись на темный чердак. —
А девочка скалила зубки,
Болтала ногой под столом . . .

— А на кого же Рябошапку оставил, Иван? — прервал я непереносное жужжание незадачливого Дон-Жуана.

— Так то — стихи . . .

— Влюбился, Иван? — спрашиваю.

— Как сказать, — отвечает. — Интересная девушка. Очень интересная. Можно сказать, на моих глазах из подростка в эдакий цветок размахровилась. У нас же в чертежной служит. Ходим с ней иногда на русские спектакли. На лекции вожу. Без этого не проживешь.

— Без любви?

— Без лекций, — хмуро оборвал он меня. — Вот вчера ходили к ревнителям русской культуры: там об экзистенциализме доклад был. Занятный.

Стал даже собаку свою забывать человек. А собака — не кошка: ей тазик с песком не поставишь. Страдал-страдал бедный пес, и не выдерживал иногда.

Пришел как-то Иван Александрович сердитый.

— Побил, — рассказывает, — своего Рябошапку. Не вытерпел, скотина, — сгреб со стола в угол листки с моими стихами — и выбросить пришлось . . .

— Пса? Так ведь он не виноват . . .

— Нет, стихи: загадил, сволочь.

Да, ничего не скажешь, у пса поэтический нюх был безошибочный.

Страдал инженер люто, а объясниться с девушкой так и не объяснился прямо: стеснялся: я, говорил, ей в отцы гожусь.

И все зря. Раз, после доклада или русского спектакля в пользу бывших институток ведомства императрицы Марии Феодоровны, — провожал Иван Александрович свою Лизочку домой. Рассказывал ей что-то, кажется из теории чисел: был он хорошим математиком.

— Ох, до чего же вы некрасивый, Иван Александрович, — как-то даже сожалительно вздохнула девушка.

Бедный инженер скукожился — не столько от слов, сколько от тона, — и сразу заторопился к своему забытому псу. А стихи выбросил все. Ну, хоть та польза.

Да, надо будет, пожалуй, и о нем при случае рассказать. Было бы только время. Заболтался я. Ну, слушайте, коли охота, мои непритязательные рассказы. А выругаете, так скажу вам, как говаривали встарь: не любо — не слушай, а врать не мешай.

...И все-таки... Пылинки в солнечном луче. Утром они и пахнут как-то особенно влекуще. По крайней мере, ранним утром жизни.

1959

## НА ЗАРЕ ТУМАННОЙ ЮНОСТИ

Да, конечно. Время было голодное. Какое голодное! Учащимся в школьных столовках три раза в неделю выдавали жидкий отвар из пшенки — и дней с такими обедами мы ждали, как Светлого Праздника. И арестов было немало. Исчезали не только старшие — наши родители и прочие тридцати-сорокалетние старики, — нет, расстреливали и нашего брата, пятнадцати- и шестнадцатилетних «заложников». А «заложниками из числа буржуазии» могли стать все: веселая Люся Берман, дочь дамского портного, Маша Попова, дочь нотариуса, и даже сутулый Ваня Гнедков, сын пьяницы столяра, по нужде вставлявшего стекла, лудившего посуду и даже чинившего заборы из крупнозернистого песчаника: Сергей Коныч на все руки мастер, — похваливали его хозяйки.

Времечко было серьезное.

Но... Но ведь нам-то было тогда пятнадцать-шестнадцать, самым великовозрастным семнадцать, — и это тоже что-нибудь значило, друзья мои.

А случилось это, как полагается, во время любительского спектакля. Городок наш небольшой, «наскрозь южный», как говаривал Коныч, весь в садах, — и к лету голод приутих — сады помогли. Молодежи в городе — пропасть: три женских и три мужских гимназии, превратившиеся теперь в семь школ первой и второй ступени, сельскохозяйственный и педагогический институты, всяческие курсы. Да еще политотдел армии открыл какие-то вечерние военизированные школы, и там было натолкано парней до отказа.

Придрались мы к первому попавшемуся юбилею. Кажется, даже не юбилею, а совсем странной годовщине: 111-летию со дня рождения Кольцова. Спектакль в честь поэта: «Предложение» Чехова, первый акт «Дней нашей жизни» Леонида Андреева, ну, концерт: стихи Кольцова, романсы на слова Кольцова — это правда: и Кольцов был на том вечере представлен.

Я, как самый мешковатый и неуклюжий, — медведем ведь меня и в школе уже звали, — получил роль старого студента Онуфрия. Зиночка, хорошенькая, с малость выпяченной нижней губкой, — роль Оленьки — Оль-Оль. А ее сестра Зоя — двойняшка, ну, совсем от Зиночки неотличимая — она играть не играла, зато так чудесно пела в концертном отделении «На заре туманной юности», что все мы так и не решили: в кого же из сестер влюбиться (а влюбиться надо было непременно): в Зину или Зою?

После концерта наплясались вволю под разбитый вдрызг рояль. Но я-то не танцевал: все попытки обучить меня этой премудрости закончились плачевно: я отдавил ноги Зине, порвал пояс на легком платьице Зои, оттоптал туфельки милой курносенькой Наталке, — и меня отставили: — ох, уж подлинный медведь... Я стоял у рояля в позе эдакого Чайльд-Гарольда — в поношенном френче, брюках галифе, перешитых из старых шаровар дяди — казачьего есаула, в защитного цвета старых обмотках и разбитых ботинках со свороченными набок каблуками. Впрочем, такой гарольдовский наряд не мог тогда никого удивить: я был еще щеголем по сравнению с многими.

Стоял я — и мучительно думал: ну, да. Я, конечно, по уши влюблен. Но в кого?! В Зиночку? В Зоечку? Да их и различить-то нелегко. Правда, Зоя так поет, у нее такой голосок... И как она играет на гитаре! Но Зина... Зина так поэтична, и какая она актриса... А эти глубокие, задушевные интонации, когда в роли Оль-Оль она говорит: «Один у меня друг, как одно у меня и сердце. Одна жизнь. Одна любовь».

Мне хотелось тогда любить — почти безразлично: кого любить. Меня волновали до трепета любые девичьи лица и фигурки, и я безотчетно вовлекался в какой-то шумящий и щебечущий мирок девичьих забав и девичьих интересов, девичьих горестей и девичьих увлечений и — что греха таить! — забросил всякие уроки, не только нена-

вистные математику и химию, но даже любимые историю и литературу. Читал, скажем, про Марию Антуанетту, — и она представлялась мне вылитой Зиночкой Шаховой, а коммунарка Луиза Мишель одергивала короткую юбчонку, чтобы как-то прикрыть круглые, чуть детские колени, совсем как Наталкины. А Зоя Шахова — это ведь Вера «Обрыва». Но ведь Зина и Зоя — они обе . . . Ах, чёрт! И уроки в голову прямо-таки не лезли.

Наконец томление перешло все границы. Я написал любовное послание в стихах и прозе. Я сравнивал себя с гадким утенком Андерсена, воспевал глазки и ножки моей любимой, — и, долго раздумывая, кому адресовать мое эпистолярное чудовище (двенадцать мелко исписанных — не без орфографических ошибок — тетрадных страничек в мелкую клетку), — решился, в конце концов, на военную хитрость: адресовал просто: «Дорогой З. Шаховой». Кто-нибудь, да откликнется: не Зина, так Зоя. Не Зоя, так Зина.

Письмо я затискал в голубой с золотой каемкой конверт, нагло украденный у квартировавшего у нас инженера, славившегося амурными похождениями. Долго-долго ходил я около одноэтажного домика о трех окнах, где жили пленительные сестры. А рука все не решалась закинуть жегшее меня послание в скважину «для писем». Все же решился. И, не видя смеющихся рожиц девушек в среднем окне, воровским движением вбросил в щель в двери свой конверт — и со всех ног по-

мчался домой, как по раскаленным железным плитам любовного ада.

Через день все знакомые девушки при встрече со мной отворачивались, фыркали, краснели. А Наталка, чертовка, сморщив свой и без того кукольный носишко с разбегавшимися во все стороны веселыми веснушками, прямо глядя на меня карими задорными глазами, пропела:

Я не гадкий утенок,
Я нелепый медвежонок,
Никому не открываю:
Зе иль Зе я обожаю,
Потому что сам не знаю . . .

— Дура! — выкрикнул я, рассвирепев, Наталке.

И вся стайка девиц, шедших с нею из школы, так и присела от неудержимого, самого звонкого и оскорбительного хохота.

Прошло два года. И в огромном, длинном, как жизнь, университетском коридоре я неожиданно столкнулся с Зоей.

— Шахова, и ты здесь?! Как я рад . . .

Девушка покраснела от волнения, даже мелкие капельки пота проступили на лбу. Те же милые, мягкие, чуть вьющиеся волосы. Тот же милый, капризный, но такой детский еще рот.

— Медведюшка, милый . . .

Уже целый час мы с нею мерили Университетскую набережную — от Дворцового моста до

сфинксов Академии. Совсем по-пасхальному сияла нам золотая шапка Исаакия. А слова лились и лились, вовсе не те, что пели в душе, но мы хорошо понимали друг друга — сквозь шелуху не относящихся в делу слов, внешних, посторонних, никчемушних.

«Я давно люблю тебя, глупый», — говорила музыка ее голоса.

— На заре туманной юности
Всей душой любил я девицу,
Был у ней в глазах небесный свет, —

пела моя душа в ответ, а язык вертел что-то о провале на зачете по сопротивлению материалов и о том, что я перехожу в институт гражданских инженеров.

Да, нам тогда было втрое меньше, чем теперь.

Встречал я ее и позже: была Зоя уже геологом, женой хорошего горного инженера, у них было двое сопливых мальчат, страшно капризных и избалованных. Я к тому времени много и успешно строил, часто вызывали меня то на крупные окраинные стройки, то в Москву, не женился — все как-то некогда было, — ожирел и отсырел. Но иной раз при встречах как-то вспыхивало далеко и глубоко внутри то же юношеское беспредметное влечение, и хотелось запеть неверным одышливым баском:

На заре туманной юности . . .

1959

## ПРОСТОТА

В то время он как раз и привязался ко мне особенно крепко. Прежнюю свою, правда, не забывал — кажется, не забыл ее и теперь, — но говорил о ней все реже и реже, а ко мне зачастил. Чуть вечер — он уж тут как тут. И всегда, бывало, что-нибудь несет: то пирожные и вино, то цельный пирог, то какую-нибудь вещицу, красивую на его вкус. И вначале всегда оправдывался: зашел, мол, чтобы спросить меня о какой-нибудь пустяковине по хозяйству: он, мол, теперь вдовец и ни к чему не приспособлен. А потом заходить стал так, просто. Или говаривал, что со мною ему легче и отдохновеннее. И прибавлял, что его, мол, очень привлекает моя простота. А я обижалась, правду сказать, очень: ну, конечно, простота так простота: мы высших институтов не кончали, языкам и музыкам не обучены, но почему все ж таки простота? А он усмехнется, и как-то даже приятно усмехнется, и скажет:

— Ну, разве ж не простота? За это, дескать, и люблю я вас, Анна Сергеевна.

А сам он по какой-то странной инженерной специальности: старший инженер, получал, прямо сказать, здорово, учил в институтах, в Москву чуть ли ни каждый месяц вызывали, а сам пробку перегорелую заменить не был в состоянии, звал управдома или монтера: бывают же такие инженера! Только все сидел над какими-то числами, на бумажке записывал их с закорючками, как изогнутые червячки, — пишет, пишет, потом рассердится, порвет. Опять пишет, — и вдруг подскочит, радостный, меня схватит, закружит, заорет, как оглашенный: — Нашел, — кричит, — Аннушка! Ура!

Ну, прямо чудик гороховый. Мы жили тогда уже с ним вместе, только так и не обзаконились — все некогда было.

Так и жили. Приходили к нам в гости всякие важные профессора и инженера, даже однажды директор вечерних курсов бухгалтерии приходил, тех курсов, которые я так и не кончила: по счетной части больно трудно было успеть, — и он приходил, так его самого принял мой Николай Иванович до того сухо, что я обрадовалась: не за меня ли отомщает? Оказывается, директор приходил, чтоб за племянника походатайствовать: провалился на зачете у моего.

И все было хорошо так года полтора. А потом появилась у моего помощница по рассчетам — эта самая Нина Петровна. И глядеть, собственно, не на что: правда, белая, это ничего не скажешь, но

ни тебе грудей особенных, ни назади мяса — просто, как доска. И ноги длинные-длинные. Я на нее даже первое время ноль внимания — потому не бабенка, а сухарь. А она и на дом к нам стала заходить: со мною хорошо подружилась — простить себе простоты моей не могу! — а Николая Ивановича все расчетами досаждала.

И вижу — слюбились-неслюбились, а мучаются оба до невозможности. У Николая Ивановича глаза потухшие, а у Нинки совсем провалились, а когда глядит на моего, словно угли горят: прямая гадюка.

И то и дело мой к ней шастает: то она недужит, мол, то по каким-то служебным причинам: я разве могу это проверить! Но и поверить, конечно, не могу.

Дальше — хуже. Говорит мой Николай Иванович — она только на него глаза пялит, прямо в рот глядит. Рассказывает чтой-то Нинка — мой с нее глаз не отводит. Перед людьми срамота.

Прорвалось вскоре до очевидности. Поехали в Павловск — дворец и парк обозревать. Ходим по парку, а они остановились перед разрушенным мостиком через ручей — и восторгаются: ах, мол, какая прелесть!

— Ну, какая ж то прелесть, — говорю им, — стыдно даже со стороны смотреть: перила обвалились, мост весь ошарпанный, а починить, видать, руки не достают? И не так дорого бы привести в порядок.

— Так то ведь нарочно так и построено, — смеется Николай Иванович, — это, дескать, руинный мост, он таким разрушенным и выстроен.

А Нинка, как очумелая, мелким смехом заливается. И с моего глаз не спускает.

Поглядела я на нее, сплюнула с досады: ты, мол, чего передо мной выхиляешься? Все над «простотой» моей куражитесь? Так я, мол, и поверила вам, что в прежнее время нарочно строили развалины! Нет, голубушка, в нашем городе старую церкву рвали, так взрывалась с трудом, и рвалась по кирпичу, а известь такая крепкая, что не разорвешь. Вот как раньше строили, — а вы — «руины». Ищите дуру, чтоб поверила.

Тут вот Нинка мне вся разом — до самого нутра — и открылась.

А потом она не стерпела, видать: сбежала в провинцию, замуж вышла вовсе без надобности — «чтоб от себя убежать», как написала моему. Я ее письмо-то прочитала, как он его на письменном столе бросил, а сам побежал на набережную и стал вышагивать там туда-сюда, схватившись за голову. И еще она написала: — не хочу, мол, разбивать жизнь Аннушке — это мне, значит, — и пусть все останется так, «недопетой до конца песней».

Вот стерва! И чего берегла — ведь не шестнадцатилетняя девушка. Переспала бы с моим — он бы и позабыл ее скоро: скелет несчастный, кто такую долго помнить будет. Ведь мужику что: переспит, отряхнется — и нет его. А тут, как при-

ворожила: до сих пор сам не свой, даже на службе заметили. И глаза, как у блудливого кота.

Нет, хуже нет тех, что с воображением. Сказала это как-то моему, а он мне:

— Это все твоя *простота* проклятая — ох, не простая она у тебя, простота-то. С подковыркой.

— Уж такой уродилась, — отвечаю.

1960

## ШИРМЫ

Ну, к чему, в сущности, рассказывать вам все это? Ведь о коммунальных квартирах писалось, тысячу раз писалось. Но ведь я-то хочу вам поведать свою собственную историю, а каждому человеку, особенно на склоне лет, прямо-таки не терпится рассказать про пережитое, про бывалое. Настолько не терпится, что...

А впрочем, к чему оправдываться? Никто ведь не неволит вас читать мой рассказ. Я же не литератор, а инженер, и если и расскажу что-нибудь, о чем вы уже не раз читали, — не обессудьте: за литературой я почти не следил, больше жил и работал.

Квартира наша раньше была барской, обширнейшей: с залом в четыре окна, комнатами для прислуги (конечно, полутемными), таким широким и длинным коридором, что из него можно было бы выкроить целые две квартирки среднего размера. А кухня! Судите сами: на необъятной плите, не топившейся уже лет двадцать, одновременно шипели, плевались и воняли целых одиннад-

цать примусов. Да, одиннадцать: в квартире проживало одиннадцать семейств и одиночек.

Две лучшие барские комнаты — окнами на канал — принадлежали директору научно-исследотельского института механизации и стандартизации общественного питания Ивану Ашотовичу Айропетьянцу, упорно величавшему себя доктором технических наук Жаном А. Аэропетиани. Доктор технических наук был членом Ленсовета и партийцем с немалым стажем. Поэтому он, не говоря никому ни слова, нахрапом захватил для своего исключительного использования и выход на парадную лестницу (все остальные жильцы пользовались только черной дворовой лестницей, ведущей на кухню), и барскую ванную и уборную, запертую им на замок (все мы пользовались ванной и уборной для прислуги), и даже отгородил фанерной перегородкой не до потолка часть коридора, образовав темную комнатку для своей прислуги — виноват, теперь домработницы, — Нюры. Нюра оказалась большой церковницей, в чем сошлась с тещей Айропетьянца, тайком, вместе с Нюрой, окрестившей всех троих ребят старого члена партии:«Детишки-то чем виноваты, — что же им — некрещенными пропадать, что ли?!»

В двух соседних комнатах, так же окнами на канал, жили семьи завканцелярией Промакадемии Позина, вдовца с двумя дочурками-двойняшками, и профессора Кобылина, вечно ссорившегося со своей тощей и злой женой, даже не переменившей

при регистрации брака свою фамилию на мужнину: «Я сама специалист: я — сама по себе: зачем мне менять свое имя?» И тетя Катя, как звали ее не только дети Айропетьянца и Позина, но и все в квартире, так и осталась Жеребцовой.

— Ну, как им не ссориться? — подняв брови и сморщив насмешливо нос, острил при каждом семейном скандале, разносившемся на всю коммунальную квартиру, геолог Коля Попов. — Ведь и брак у них какой-то противоестественный: он — Кобылин, а она — Жеребцова...

Жил Попов в одной комнате с техником электриком Сережей Демченко, часто приводившим в свой угол девушек и молившим в этих случаях Попова: «Коля, уйди. Ну, что тебе стоит? Как закончу с обменом веществ, я тебя кликну...» И бедному Попову приходилось уходить в соседний сквер, либо — если мужа не было дома — пересиживать такие часы у молоденькой учительницы Кочетовой. Придя домой и узнав об очередном посещении Попова, муж учительницы, директор питомника служебных собак, молча избивал свою легкомысленную половину, прикрыв ей рот своей толстой ручищей.

Хранительницей святости семейного очага всей коммуналки была жилица бывшей кухаркиной комнаты Ангелина Федосовна Кособрюхова, по сцене Анжелина Дюбарри, дряхлая трясущаяся старуха, сильно накрашенная, с сиреневой жидкой прической, лет тридцать-сорок тому назад танце-

вавшая в Буффе или Аквариуме «канкан о натюрель» и «матлот на голое обнаженное тело», как она любила вспоминать в беседах у строя примусов. Комната Дюбарри была чудовищным нагромождением всяческого хлама: трехногие кресла и диван с вырвавшимися на волю из прогнившей обивки пружинами теснили целую серию прорванных и почти целых ширм, стоячие и настольные лампы были заложены множеством пропыленных насквозь венков, поднесенных во время оно поклонниками божественной Анжелины; миллионы фотографий самой Дюбарри разной степени раздетости были навалены на полки рассохшихся этажерок, распирали плохо выдвигавшиеся и вовсе не действующие ящики шкафиков и секретеров; стены были сплошь увешаны истлевшими афишами с именем Дюбарри, грязнейшими веерами с портретами Анжелины, программками ее выступлений, напечатанными на когда-то белом атласе... Сама Дюбарри ходила всегда в шлепанцах на босу ногу, курила зверские самокрутки и — когда угостят — любые папиросы, предпочитая все-таки наиболее дешевые: они забористей. Просаленный ветхий капот, папильотки на почти совсем облысевшей голове и маленькие юркие глаза много повидавшей на своем веку неблагостной старости. Как жила Дюбарри на свою крошечную пенсию — это было предметом постоянных пересудов на кухне, мистически озаряемой засиженной мухами двадцатипя-

тисвечевой лампочкой и целым строем шумящих примусов.

Но самыми труднопереносимыми были условия жизни в тех трех комнатах, что были выкроены из бывшей залы барского жилища. Разделенные тончайшими перегородками из строительного картона, эти комнаты с каким-то злорадством передавали каждый шёпот, каждое легчайшее почесывание своих обитателей.

В крайней, у самого парадного входа, комнате жили бездетные Могилевские. Старый типографский работник, превосходный линотипист, а теперь метранпаж, Абрам Моисеевич, добрейший и тишайший пятидесятилетний ссутулившийся меланхолик, и его давно отцветшая жена с вечно наплаканными глазами. И часто слышалось всхлипывание Ревекки Наумовны:

— Господи! Пошли ребеночка. Хоть маленького, ну, совсем малюсенького. Но мальчика. Веничку. Ребеночка бы мне . . .

— Молчи, Рива, молчи. Слезой Веничку не породишь, — шептал жене Могилевский.

— А хошь, я тебе такого Веньку сделаю, что аж дух замрет, — прихохатывал жилец средней зальной комнаты, младший чин оперативного отдела ленинградского ОГПУ Никифор Павлович Онищенко.

— Это ты-то? Ребенка сделаешь?! — истошно визжала в ответ его супруга Александра Ивановна — Шурочка, как звали ее все в квартире. —

Ребенка! А почему мне не можешь? Сволочь изношенная! Это — дело для других нетрудное, а вам, дьяволам, человека легче расстрелять, чем сделать...

— Молчи, стерва, — рычал Онищенко, — засажу, не посмотрю, что жена.

— Попробуй, засади!

И вслед за этим начиналось побоище. Верх брала всегда Шурочка, мясистая, с бурачного цвета щеками, высокая статная шатенка, — но почти каждый раз она вихрем врывалась на кухню, растрепанная, с вывалившейся из разорванного платья грудью, жадно пожираемою глазами торчащих у своих примусов холостяков: «Ядреная бабенка. Ничего не скажешь!» А Шурочка истерически орала:

— Убивает! Сволочь! Совсем убил!

И размазывала по лицу слезы, показывая всем и вся ничтожнейшую царапинку над обширнейшим коричневым соском.

Мрачный Онищенко запирался в это время в ванной и сплевывал, матерясь в душу и в Бога, кровь из разодранного рта и сплющенного носа.

Мой сосед по комнате, студент педагогического института Женя Сериков, сын темного деревенского дьякона, нищего и забитого, но все-таки «служителя культа», — был таким запуганным и истощенным существом, что и на кухню-то, к своему примусу, выходил больше тогда, когда кухня была сравнительно безлюдна. Каждая очередная

чистка студенчества, каждая очередная анкета повергала Женю в смертный пот: он хорошо знал, что любой проходимец мог донести на него, как на скрывшего свое «нетрудовое социальное происхождение»: всюду в анкетах Женя называл себя сыном батрака.

До того, как Женя нашел приют в темном углу моей комнаты, он жил где и как попало, так как в общежитие устроиться побоялся, а найти постоянное пристанище, понятно, не сумел. Встретив Женю на вечере Маяковского (Сериков увлекался стихами), я случайно разговорился с ним, познакомился, зазвал к себе, напоил чаем с какими-то ошурками моего совсем убогого обеда. Если бы вы видели — как Женя ел! Он ел, кажется, не только нёбом, языком, зубами, губами, но и глазами, ушами, ноздрями, всем нутром, всем существом своим. И, как переночевал у меня в тот день, так и остался у меня навсегда. С грехом пополам я, пользуясь дружеским отношением ко мне управдома, прописал Женю в своей комнатке, купил, поторговавшись до пены на губах, у Дюбарри какую-то трехногую софу (четвертую ножку заменили двумя старыми кирпичами, подобранными на пустыре у дровяного склада), — и Женя расцвел, зажил, «как у Христа за пазухой», как он говаривал.

Соседом он оказался хорошим, тихим, скромным, молчаливым, все свободное от лекций время сидящим за книгами и толстыми домодельными тетрадями из самой дешевой бурой бумаги. Иной

раз подкормишь его — он уж и не знает, как благодарить — если мне было туго, то он вообще-то был гол как сокол: как пришел ко мне с потертым брезентовым портфельчиком со сменой белья, двумя карандашами и тетрадками, так больше ничего и не принес: это было решительно все его добро.

— Я, как древние мудрецы, — смеялся Женя, — „Omnia mea mecum porto" . . .

Но скоро наши дела несколько поправились. Я уже кончал Технологический, стал прирабатывать чертежами и рассчетами, работая техником в одном из научно-исследовательских институтов. Женя, хорошо изучивший языки (только произношение у него было не приведи Бог), подрабатывал переводами для журналов и издательств. Много работы ему не перепадало — за переводами охотились и матерые литературные тузы, — но все-таки жизнь стала вольготнее и сытнее.

Тут-то оно и началось. Нет-нет, да и приведет Женя свою однокурсницу — тихую маленькую Оленьку: голубоглазую, с пышной русой косой, завернутой кольцом или венком на хорошенькой фарфоровой головке. И вся-то Оля была ладной, крепко сбитой, может быть, со слишком широкой спиной и талией, но аппетитной и уютной. Шушукаются они в своем углу — и то и дело, ничего не говоря, посматривают на меня такими собачьими просящими глазами, что удержаться было невмоготу. Чертыхнешься в душе, соберешь книги, записки, рассчеты — и на улицу, в сквер занимать-

ся, благо, стояли белые ночи и на улице было тепло и приятно. Вернешься через час-полтора — морденки у обоих довольные, сытые, глаза с поволокой, а меня прямо не благодарят — оба застенчивые.

Возвращаюсь как-то со службы — я уже перешел на вечернее отделение института, — пришлось, — хотя и был уже на последнем курсе, — а у меня комнатка перегорожена ширмой: купил на свои гроши Женька у Дюбарри самую большую и целую, с какими-то цаплями и амурами по выгоревшему и линялому шелку. А за ширмами щебет. Потом выходят оба — красные, смущенные, — ну, просто хоть самому провались от стыда, — и оба враз извиняются:

— Не могли, — говорят, — больше *так*, да и Оля уже на третьем месяце. Вот, сегодня зарегистрировались. Теперь уже — семья. Уж как-нибудь проживем за ширмой, пока найдем комнатку. Долго не затрудним, не надоедим, Паша.

И опять оба закраснелись, как полевые маки.

Что делать? Неудобно же мне часть комнаты у окна (правда, прямо в стену окно упиралось, но все-таки окно) одному занимать, а им, двоим, за ширмой в темной щели ютиться. Вздохнул я, но перетащил свое барахлишко за ширму. А Оля сразу у окна стала моститься, уют наводить, вытирать пыль — радостная, щебечет, напевает — «Налейте, налейте бокалы полнее» (были они недавно с Женей на «Травиате», до сих пор позабыть не мо-

гут: нет-нет, да и начнут мне рассказывать всё, вплоть до сюжета).

Тяжелая для меня настала пора. И радостно на этих птенцов голопузых глядеть — и тяжело. К ночи — так всё ждут, чтобы я заснул: стесняются ласкаться-то. Ну, сделаешь вид, что уснул. Прислушаются они — у меня за ширмами тихо.

— Заснул, кажись, — шепнет Женька, — и — жадно чмок Оленьку.

Завозятся, софа так и застонет.

А я лежу, как на углях: и мне ведь всего двадцать четыре. И никого за ширмы не приведешь — ведь в комнате уже семья, и Оля человек очень порядочный.

Ну уж, как родился у них Мишка — совсем трудно стало. Веревки с простиранными пеленками через всю комнату, Мишка то и дело орет — парень родился здоровенький, но с оперной силы голосом. Оленька, плохо причесанная, в одном халатишке, то и дело кормит его белой пышной грудью, а я — да святому Антонию было не тяжелей.

Ну, а комнату, конечно, не нашли. Где уж в те годы в Ленинграде было получить жилплощадь, да еще студентам.

— Идите, — говорят им, — в общежитие.

— Так ведь мы — муж и жена . . .

— А кто вам велел, не имея жилплощади, браковаться? Сами и пеняйте на себя. Могли бы и пообождать.

Живем, мучаемся. А тут еще, стоит заорать

Мишке, — стук в картонную переборку и злой окрик Онищенки:

— Заткните, сволочи, хайло своему выпоротку, я то я — трам-там тарарам . . .

А из дальней комнатки стон Ревекки Наумовны:

— Сынка бы мне. Ребеночка. Хоть мизинного, крохотюленьку . . . Веничку мне, мальчоночку . . .

— Уймись, нация, — стучит уже Могилевским осипший от ненависти чекист: — уймись, а то я трам-трарам-там — в душу!

Кончилось-таки совсем плачевно: через год арестовали Женю. Пришла ночью целая орава: управдом, представитель квартиры Онищенко, два стрелка и уполномоченный ГПУ — баба с наганом у пояса. Все перерыли, напугали Мишку до рыданья взахлёб, с икоткой, прорвали ширмы в тщетных поисках какого-то оружия и антисоветской переписки, и, наконец, увели сразу вдвое осунувшегося Женю.

Оля держалась молодчиной: ни слезинки, хотя от боли, волнения, ужаса и ненависти дрожали ее руки и ходуном ходила от застрявшего в горле отчаяния высокая грудь. Собрала мужу бельишко, кое-какую снедь, обняла его — и только тут два-три раза рыданула.

А дальше — обычная история: исключение Оли из института, как жены арестованного, ношение небогатых, но с великим трудом собираемых нами передач каждую неделю на Шпалерку, в дом пред-

варительного заключения. Еле-еле устроилась Оля на службу — счетчиком-статистиком в какой-то строительный трест. Мальчонку с восторгом пригревала в часы Олиной работы милая Могилевская: она даже похорошела от радости: хотя не свой Веничка, но мальчишечка, и он на ее руках, ее заботушка.

— Мальчик мой... Голубонька, — суетилась она около Мишки, обкармливая его до поноса разными вкусностями и сладостями.

— Спасибо вам за Мишунчика, — благодарил, конфузясь, Абрам Моисеевич усталую после службы и беготни по передачам и прокурорам Олю: — моя Ривонька прямо ожила. Прямо души не чает в вашем ребенке. И, — совсем смутился Могилевский, — уж вы, пожалуйста, не откажите в нашей просьбе — вот немного деньжат и конфет для передачи Евгению Алексеевичу: ведь каждый из нас может очутиться там, — прибавлял он шепотом, показывая глазами на перегородку, отделявшую от нас двухоконную комнату Онищенки.

Почти вся квартира старалась, чем могла, помочь Оле: Коля Попов тащил кусок грудинки, его сосед Демченко — сахар или бублики. Даже теща партийного туза Аэропетиани приволокла почти новую смену белья своего зятя, буркнув:

— Ну, этот чёртушка себе достанет. А вы, Оленька, ушьете — наш-то — что твой слон — и пошлете Женичке.

И так — месяц за месяцем. Наконец, передачу

возвратили Оле: решением Особого совещания ОГПУ Сериков, Евгений Алексеевич, был осужден на пять лет заключения в исправительно-трудовых лагерях за участие в контрреволюционной организации — и уже отбыл в Темниковский лагерь НКВД.

И опять потянулись томительные месяцы переписки, хлопот, продовольственных и вещевых посылок, одинокости. Оля настолько привыкла ко мне, что считала меня совсем родным, делилась со мной всем задушевным, совсем — увы! — не стеснялась меня, чуть ли ни при мне мылась в тазу до пояса — ведь в ванну была такая очередь, что — дай Боже — попадешь в нее раза два в месяц.

Да что канитель тянуть — как-то незаметно, не по страсти даже, а по одиночеству, наша ширма отодвинулась ближе к окну, у которого спал Мишка, а Оленька переселилась ко мне. Ласковая, уютная, чуть полная — она плотно вошла в мою жизнь.

Я уже кончил в то время институт, работал инженером в проектной конторе, жить стало много легче.

— Ишь, какую зимнюю бабенку оторвал, — смеялся геолог Попов: — с такой на Северном полюсе не пропадешь: не баба — печка.

А я был счастлив.

Жене, понятно, посылали по-прежнему посылки, но писать ему о случившемся не стали: как-то трудно было сознаться.

И вдруг, совершенно как снег на голову, — возвращается через полтора года Женя. Произошло редчайшее, небывалое, прямо-таки чудо: пересмотр дела группы студентов Пединститута, с освобождением некоторых из них и даже снятием с них судимости. И хотя Женя попал в лагерь не по суду, а по постановлению Особого совещания, но и его этот пересмотр коснулся. Тем паче, что к тому времени было расстреляно «за троцкизм» и все Особое совещание, весь его состав — без изъятия.

Вот судите сами, какое создалось положение: и радость за человека — и почти отчаяние: вернулся: как же быть? Ведь к прежнему не вернешься.

Объяснилась с Женей, в конце концов, Оля. Как объяснилась — уж и не скажу: без меня это было. Только в комнате появились еще одни ширмы: за продырявленными при обыске и затем залатанными поселился реабилитированный Сериков, за меньшими, с японскими домиками и гейшами, кроватка Миши, а у окна мы с Олей.

Женя дня три не выходил из-за ширм. Даже напился (раньше за ним такого не водилось), напился вдрызг, и тихо рыдал на своей старой софе. Но с новым положением примирился: жизнь есть жизнь.

Но жить вместе стало совсем уже немыслимо.

Уехал я раз в командировку. Возвращаюсь — и Женя, и Оля — как побитые. В глаза не смотрят.

— Было? — спрашиваю.

— Было раз, — не глядя в глаза шепчет Оля: — но не люблю я его больше, Паша. Выгоняй меня, поганку, но к нему не вернусь: как отрезало. А просто — пожалела я его тогда: такой он был жалкий, так умолял: «Ты, говорит, ведь моей была — и даже еще не разведена» . . . Ну, просто пожалела . . .

Что тут скажешь? Позвал я спрятавшегося за ширмами Женьку.

— Трудно нам, — говорю, — теперь вместе жить. Уезжай, — говорю, — в другой город. Переезжай поскорее, — ведь силы больше нет.

— Паша, — отвечает он, — ты уже инженер, тебе всюду дорога открыта. А я — я, —говорит, — только что в институте восстановился, в столичном, — мне еще два года тянуть до диплома, чтобы в люди выйти. Куда я поеду? И опять — анкеты, опросы. Пожалей, — говорит, — меня.

И правда, возразить Жене нечего. Что будешь делать? — Посовещались мы с Олей, она поплакала, да и у меня глаза что-то зачесались: шутка ли, в Ленинграде жилплощадь и прописку терять, да и работу: ведь это уже — навеки. Но, поколебавшись, решили: едем: все-таки главное — семья: немыслимо так дольше жить.

Как уезжали, — долго провожал он нас: пока поезд наш не скрылся за поворотом от него, все видели мы печально сгорбившуюся фигуру Жени: он нервно махал нам платком.

1960

## НЕКУДА

Собственно говоря, голоса у нее уже не было никакого. И от былой привлекательности остались только одни глаза: умело подведенные, они казались непомерно огромными на худом густо набеленном лице с большим мокрым ртом. А уж худа была! Сущий скелет, да еще в черном глухом шелковом платье.

Но уменье осталось. Я не знаток и не любитель цыганщины, но и у меня что-то скребло на душе от всех ее, почти говорком-шепотком преподносимых, «колокольчиков-бубенчиков» и «прощай, мой табор».

Впрочем, на публику это уменье никакого впечатления не произвело. Вечер был устроен в пользу не то инвалидов умственного труда, не то престарелых членов общества российских дворян в Америке. Но инвалидов и престарелых дворян на вечере была горстка, да и то глухих и глуховатых, — а и крепкоухому-то расслышать пение было нелегко: так шумели, переговариваясь по-английски, молодые посетители вечера, нетерпеливо до-

жидавшиеся танцев и выборов королевы инвалидного бала.

Певица старалась не замечать нетерпения и честно проговаривала свои песенки, хотя безухий аккомпаниатор, ухитрявшийся врать на каждой ноте незамысловатого сопровождения, а потому звавшийся профессором, уже не раз выразительно поглядывал на «любимицу публики в ее репертуаре».

И только уходя за кулисы, после таких жидких аплодисментов, что нельзя было и думать снова выйти на эстраду и поклониться публике, — певица не то громко всхлипнула, не то икнула от с трудом сдерживаемых рыданий.

Мне почему-то стало ее как-то особенно жалко.

— Час не поздний, — сказал я своему сожителю по квартире (оба мы — старые холостяки), — не пригласить ли нам эту самую Катюшу усидеть бутылочку Смирновки? По хрипотце в голосишке чувствую, что не откажется Катенька-то. И отвлечется немного, развлечется — обиду позабудет...

— Так ведь уже одиннадцатый час.

— Эка беда! Завтра не идти на работу — выходной день: посидим часика два, проводим ее домой — и вся недолга...

Но провожать нашу гостью так и не пришлось. Как согласилась она легко — и даже с явной благодарностью, — так и осталась у нас так же легко и просто.

Простота, с которой она разделила мою постель, меня даже ошарашила сначала. Мой компаньон по квартире, злорадно ухмыляясь, скрылся, когда мы раздавили бутылочку водчонки, а Катюша, уставясь на меня своими угольными глазами, сказала деревянным голосом, безо всякого выражения:

— Мы, Петр Семенович, не гимназисты: нам во вздохи да в дружеские излияния играть не по возрасту. Побаловались болтовней — пора и байбай. Женщину ведь мужики не для чесания языком приглашают.

Ну, не влекла она меня никак. Рыбья кость, обнимешь — насквозь проткнет, и кожа шершавая, — да как тут обидеть женщину, только что хвалившуюся целым эскадроном поклонников и возлюбленных не только в давнопрошедшее, но и в недавнее время:

— Я, мол, и пела перед этим хамьем только потому, что меня слезно умолял об этом князь Стрюцкой, страстно меня обожавший... не помню сейчас, в каком году... А сегодняшний кассир — граф Недомерков — всегда целовал у меня руки поверх перчаток...

Откажешься тут — как бы ни так! Ведь это — самая ничем не смываемая обида. Вот и получилось — вместо «ложа сладострастья» — сплошной монашеский подвиг: вроде вериг, даже того хуже.

А Катюша назавтра и от работы отказалась — работала она подавальщицей и хористкой в русском кабаке «Мандолина»:

— Мужчина обязан содержать любимую женщину: мы ведь не марксисты, мы — люди старых убеждений . . .

Переехала к нам насовсем — и баста.

Но за профессиональной наглостью кабацкой певички была и подлинная беда: и никем не понятый талантишко — выговаривала она свою пошлятину с каким-то даже изощренным блеском, — и — насквозь пропитое, харкающее кровью здоровьишко.

И, как у всех чахоточных, еще и кошачья страстность и боязнь хотя бы на минуту остаться одной.

А у меня была настоятельная необходимость после нудного рабочего дня — работал я художником в рекламной фирме — ну, часок-другой побыть одному. В мастерской реклам — набившее оскомину рисование голых девок: голая девка держит шину — реклама автомобильных покрышек; голая девка прикрывает срам бидоном — реклама бензина; голым-голая щерит зубы и, изогнувшись, протягивает вам плитку шоколада — шоколадная реклама. Вот и хотелось стряхнуть с себя все это, побыть одному, попроектировать. И в Советском-то Союзе приходилось больше мечтать: я еще в институте увлекся по преимуществу храмовой архитектурой, — но где же было что-то строить! С трудом устроился архитектором-реставратором: всю душу вкладывал в восстановление исковерканных временем и перестройками варварского

XIX века старых конструкций кровель церквей XII—XV столетий, сдирал цементную штукатурку, заставляя неровную поверхность побеленных стен играть на солнце веселыми пятнами. И вот — война. И мои лебеди-храмы — трупы, безобразные кучи обугленного кирпича и обломков штукатурки. Вся жизнь насмарку! Вот и хотелось хотя бы для себя самого создать храм, о котором мечталось смолоду. Весь — в открытых портиках. Огромные двери с трех сторон. Огромные узкие окна от потолка до полу. Храм на холме, стройный, одноглавый, белый, как чистая Господня риза. Широкие ступени ведут к нему со всех сторон. И со всех сторон открыт Господь народу, подымающемуся по белым ступеням к Святая Святых молений и покаяния, радости и жизни вечной.

— И чего заперся: все равно не построить тебе ничего, — только время зря теряешь, — ругалась Катюша.

— Пиранези, Катя, тоже почти ничего не строил, только фантазировал, но идеи его оплодотворили . . .

— Помолчал бы уж об оплодотворении, тряпка несчастная, — истерически шипела моя не по любви полюбовница.

А когда я заговаривал о Пиранези и нашей общей с ним трагической судьбе — вечно фантазировать и мечтать и ничего не строить, — мой компаньон по квартире, рассыльный конторы объяв-

лений и поэт Эраст Григорьевич, посмеивался и бурчал:

— Про Пиранези ничего не скажу — не знаю его, а вот только фантазировать — это вроде умственного рукоблудия...

Сам он писал стихи. Не знаю — хорошие или плохие. Говорили, что замечательные. Оставались еще два-три ценителя старика. Стихов, понятно, почти не печатали, так разве — два-три за пять лет. А уже читать стихи — не читал никто. Мне Эраст их читал, я выслушивал, но ведь мне — ни к чему, не понимаю я этой словесной игры. Вот Пушкина и Лермонтова понимаю.

И стал я замечать, что начались между Катюшей и поэтом какие-то шашни. Работали мы в разные часы, он возвращался домой раньше. Вернешься — а он отскакивает от Катюши, весь красный, и от смущения лопочет невесть что, чуть ли не стихами. А мне-то что! Какая уж тут любовь — жалость одна. Делаю вид, что ничего не замечаю. Мне и легче: стала иной раз Катя оставлять меня в покое: почертишь, пофантазируешь — душой и телом отдохнешь.

А Эрасту и Кате тоже утешение: скрывают, дескать, свою связь, чтобы меня не огорчать: тут и «забота о человеке», как у нас говорилось, и занятие для свободных от работы часов: таиться, скрываться, надевать маску безразличия на, собственно говоря, подлинное внутреннее безразличие и игру свою. Все-таки занятие. Даже стихов стал

Эраст писать поменьше, а что писал, то — понятнее: дескать, страдаю, но отдаю свою Катюшу всем углам и всем перекресткам, бульварным скамьям и восторженным слушателям, всем встречным и поперечным, а сам люблю и истаиваю.

И всем получше стало: мне — больше покоя, им — больше утешения и даже гуманитарности: меня щадят, дескать: иная ложь во спáсение.

Да только недолго длился этот «нас возвышающий обман»-то. Катюша все худела и худела, сначала изредка, а потом все чаще начала плеваться кровью. Свезли в больницу. Ну, недорогую, понятно: наши достатки известные.

Умирала мучительно: цеплялась за всякую надежду, до конца не хотела пригласить священника — все кричала, что мы жаждем ее смерти . . . Но умерла примиренная: меня, дескать, и в сорок восемь лет любили . . . И тут, перед концом, лет пятьшесть скостила. Ну, да Бог с ней, беднягой.

А наша жизнь без нее совсем сникла. Даже тень какой-то жизненной игры исчезла. Эраст смотрит волком на мои, может быть, и на самом деле никому не нужные чертежи, — я вовсе не могу слушать декламационную фальшь его стихов. Но идти нам некуда — никуда и никому больше мы не нужны. А, впрочем, кто кому в нашей жизни нужен? Разве только Богу: Он долготерпелив — и может вынести и наши мелкотравчатые и малочистоплотные мучения.

И вот еще связывает нас с Эрастом эта тень любви: не состоявшейся, наигранной, но, может быть, все-таки долюдлинной: прижались друг к другу от холодного ветра, да так и прижились.

1960

## НЕСТЬ ЕЛЛИН НИ ИУДЕЙ

Впервые встретился я с ним при нашей выгрузке из бражи в Усть-Выме, небольшом зырянском селении, а некогда важном пункте новгородской колонизации Печоры и Перми. Железной дороги Котлас—Воркута тогда еще не было и в помине, и заключенных перегружали в Котласе из грязных угольных вагонов в пузатые баржи Вычегды. На палубах барж располагались стрелки и сторожевые собаки, а все уёмистое нутро — трюм — до отказа набивалось заключенными и их незамысловатыми пожитками. Лечь было невозможно — некуда было вытянуть ноги. Мы полусидели, подогнув под себя ноги, несколько дней, и тело ныло тяжелой свинцовой болью. Наконец, приволоклись в Усть-Вым, и с великой радостью выгрузились по шатким сходням на скучный глинистый берег. Правда, предстояло еще трудное этапное пешее странствие до столицы лагеря, Чибью, — 280 километров в девять дней, — но оно даже радовало многих из нас: движение, воздух, а не невыносимая пытка многосуточного сидения на половине

квадратного метра. Мы уже стояли на берегу, когда по сходням заковыляла на кривых неуверенных ногах странная сгорбленная фигурка в меховой дохе, меховых пимах и куколе. На шее ожерелье из каких-то звериных зубов, за спиной — меховой мешок со скарбом. И вдруг меховая фигурка оступилась и рухнула в воду под оглушительный хохот и улюлюканье конвоиров. Из воды ее сразу же выволокли, но мешок с пожитками остался в неприветливой октябрьской Вычегде. Меховой куколь был отброшен назад за спину, когда старика подвели к нам. Он был стар, очень стар, и он горько плакал. Слезы текли по грязному лицу, оставляя дорожки-пробелá, а старик всхлипывал:

— Моя скоро умирать буду. *Он* не простит моя. *Он вода* не любит, многа не любит . . .

*Он* — потерянный стариком в Вычегде, в мешке с пожитками, небольшой деревянный идол. Старик был чукотским шаманом, осужденным за саботаж и антисоветскую религиозную пропаганду на пять лет. Направили его с Чукотского полуострова не на соседнюю Колыму, а в отдаленнейший Ухтпечлаг НКВД. Двигался старик в этот лагерь уже второй год, то на собаках под конвоем, то на грузовых машинах, то на баржах, то в товарных вагонах. Многонедельное сиденье на этапных пунктах и в пересыльных тюрьмах. Иногда пешее хождение через тундру или тайгу. Гнилая треска и гнилая вода в пути. Окрики и пинки конвоиров.

Приемка нашего этапа конвоем лагеря задер-

жалась на несколько часов: малосведущие в великом искусстве счисления зырянские стрелки раз шесть сбивались с панталыку, раз шесть выстраивали и пересчитывали нас, но никак не могли добиться нужной им цифры. Дул пронзительный октябрьский ветер, мы приплясывали от холода, несколько троцкистов, захваченных летом прямо на пляже — в майках и летних легких брючонках — бегали на месте и боролись, тщетно пытаясь както согреться, а шаман медленно и невнятно гундосил, повествуя нам — за что его посадили:

Ему больше восьмидесяти. Он родился еще в тот год, когда медведь загрыз большого шамана Ванку. Загрыз за то, что не мог большой шаман объяснить медведю — почему все звери разные. Почему у лося деревья на голове ветвистые, даже у барана рога, а у него, бурого медведя, только уши. Все звери разные, все люди тоже разные. И когда пришла на Чукотку советская болшевик и запретили шаманам камлать, он уже был опытным и известным далеко по тундре шаманом. К нему приезжали и якуты, и даже русские Иваны, когда у них была кила́ или надрывалась жила или нападала другая трудная хворь.

— А молодые сказал: «Бога нету, нельзя камлай», — и он, старик, боялся камлать-шаманить, только по нужде и многознакомым камлал: как откажешь? Друг больной, друг говорит: «Покамлай-покружись, болезнь гони вон! Хорош собака дам, мука дам, водка дам!»

Приехал как-то к нему сам коммунист чукча, обучавшийся в Ленинграде, в институте народов Севера. Заболела у коммуниста жена, долго лечили ее врачи — не помогло. Но побоялся лечить ее старый шаман, и вдвойне осерчавший коммунист — и за отказ, и за свое собственное малодушное идеологическое грехопадение — начал против шамана *дело*, обвинив шамана в религиозной контрреволюционной агитации и, заодно, в недосдаче по контрактации каких-то мехов государству. Дали старику всего пять лет, и погнали его с конвоиром в ближайший центр для переотправки дальше. А гнали его до этого пункта на его же шамановых собаках. И заболел в пути старый шаман: глаза заслезились, вспухли, руки трясутся: не может удержать в руках ни шеста — собак погонять чем, — ни чего другого. Молча передал старику шаману винтовку свою конвоир, мальчишка комсомолец, взялся за шест. Хотел сам стариковскими собаками править. Но почуяли собаки непривычного ездока, сбросили обоих с санок и подались с пустыми санями на обледенелый пригорок. Остановились там, сели, языками морды облизывают: смеются над неудалым парнюгой: поймай, мол, коли сумеешь. Рассвирепел конвоир, схватил было винтовку, хотел собак кончать, да смякитил, что замерзнут оба в тундре. Заплакал, говорит шаману:

— Помолись, старик, твоему Богу — замерзнем не то, гляди.

Кое-как добрались до большого жилья. А там

комсомолец конвоир совсем озверел: боялся, знать, что расскажет старый шаман, как ему, заключенному, он винтовку передавал и молиться просил...

Через год снова повстречал я шамана. Работал он дневальным в бараке геофизической партии. Барак стоял вне зоны, на отлете, и там не так чувствовалась атмосфера лагеря. Работа геофизической партии была в лагере блатной: летом дела до чёрта, но осенью и зимой — лафа: кто из начальства мог проверить — сколько именно времени необходимо затратить на камеральную обработку материалов?! Обрадовался шаман, увидев меня, и зашамкал:

— Меня он простил. Хотя я и потопил его тогда в Вычегде. В мешке. А вот начальника, что меня посадил, здесь встретил. Десять лет ему. Срок. И как не стыдно ему! Меня когда стрелок брал, я говорил ему: «Я не шаман. Я православный. Большевик. Смотри, паря», — и перекрестился. А он меня все равно взял. И сам вот сюда попал... Приходи ты наш барак — рады будем.

В бараке геофизической партии заключенного профессора, бывшего князя Николая Борисовича, проживали единым духаном сам князь, еще один князь — старик грузин Вассо Григорьевич; бывший гвардейский офицер Николай Павлович; бывший комсомолец Сережа Новицкий; армянский писатель, обвиненный в участии в дашнакской организации, Ваган Христофорович, переименован-

ный в «Вагона Семафоровича», да наш старик шаман.

— Николая Борисовича нет еще? — спросил я, входя в барак.

— Чего твоя спрашивает? Не знаешь разве, что Борисыч цветы после работы собирает: цветы любит Сусанна-Лесанна, он ее много цветы собирает. А она на его — тьфу, цветы берет, конфет-масло с посылков берет, а на Борисыча — тьфу. Наша чукча баба лучше: наша даром не берет, наша честная баба . . .

— Ну, совсем разболтался наш старикан, насплетничал уже, — рассмеялся Сережа Новицкий. — Здравствуй, Андрей Алексеич. Но шаман прав: Николая Борисовича вы никогда не застанете. Втрескался он в Сусанну Александровну свою по уши. Вздыхает, конфетами угощает, цветы стогами носит: все берега Ухты, кажись, обобрал. А как свидится с нею, только молчит да вздыхает . . . Такой тюлень!

— Вам-то, Сережа, хорошо: вам двадцать два. А когда полюбит вот такой, как Николай Борисович, — ему ведь под шестьдесят, — тогда всё много мучительнее.

— Не то, я думаю, Андрей Алексеич; я думаю, это потому, что он — князь бывший. Все-таки, как вы ни говорите, а у них всякие фигели-мигели, ручки целуют, по-французски всякие «сапети-мапети, пуркуа муа». Простоты нету. Вот Вассо Григорьевич тоже князь, но кавказский: у них если

пять баранов — уже князь. Он проще. Свой мужик, простая душа. Сейчас рыбку на Ухту пошел ловить — вот и хорошо, что забрели, — ушицей побалуемся.

— Я камлай Борисычу, без его камлай, так, про себя, в леску за бараком шаманил: не будет ему спать Сусанна-Лесанна, — даром, говорю ему, масло-конфет даешь. Зря, говорю. А он сердитый, стучит меня ногами, кричит: не твоя дела. А как не моя, когда он — моя начальник?!

Вассо Григорьевич, страстный рыболов, частенько отправлялся с удочкой на Ухту. От комендантов и прочих шакалов откупались той же рыбешкой. Готовил обычно Вагон Семафорович, как все армяне любивший и умевший вкусно поесть. Он подкладывал в пищу какие-то сушеные корешки, травки, горошинки, — и уха или даже казенная треска начинали благоухать всеми ароматами Арарата, щекотали голодные ноздри никогда ненасытимых лагерников. А Вагон Семафорович ходил гоголем около печки, помешивая время от времени варево или парево. Вассо, важно закинув голову и заложив руки назад, сидел на нарах, и вся его осанка говорила: вот видите, я с добычей. А?!

— Я тоже довольно хорошо знал толк в хозяйстве, — рассказывал в это время Николай Павлович: — одно время я был даже хозяином офицерского собрания нашего полка. Вы бывали, князь, в нашем полку в гостях?

— Не бывал, Николай Павлович. Мы, гусары, больше со своими . . .

— Рыба зачем варишь? — негодовал шаман. — Всегда тебя говорил: рыба в кадка клади, немного вода лей, рыба стоит месяц, месяц, еще месяц — рыба черной делается, скусный рыба тогда.

— Представьте, вот затеют они — Вассо и Николай Павлович — разговоры: где какой полк стоял, какая форма была у каждого полка, — так часами только об этом языками молотят, — и Новицкий пожал плечами.

А Николай Павлович, как нарочно, убеждал в это время Вассо Григорьевича:

— Нет, дорогой князь, вы спутали: канареечные канты и голубая форма — это у лейб-гвардии Кексгольмского. У них еще шефом до войны был Франц-Иосиф, император австро-венгерский. Вот как началась война — вы представляете? — в офицерском собрании вся посуда с вензелями вражеской страны, и салфетки, и скатерти — сколько хлопот, сколько волнений . . .

А добродушнейший князь Вассо уже переходил на свое любимое. Мечтательно глядя вдаль своими большими выпуклыми глазами, он стучал суставом указательного пальца по стеклу и вспоминал вслух, как приятно в грузинскую летнюю жару поставить на ледник большой глиняный таз с белым вином, покрошив туда для запаха персиков.

— Пьешь со льда это — и не знаешь: на небе ты или на земле. А в саду под деревом скамейка

каменная, стол каменный, еще при прадеде стояли . . .

И Вассо запевал тихонько «Сулико». Ваган Христофорович нервно дергался:

— Вассо, оставьте: *эту* песню *ваш* Сталин любит.

— Хорошо. Не буду. Извиняюсь. Только Сталин — не грузин. Мать его — *ваша* армянка, а отец осетин . . .

— Откуда вы это взяли?!

— Но что было замечательно, — продолжал, как ни в чем не бывало, Николай Павлович, — так это — чувство полковой и личной чести. Вы знаете, перед самым, самым развалом фронта, в семнадцатом году, приезжал к нам на позицию, в наш полк, большевистский комиссар, наш же бывший фельдфебель. Речь загвоздил такую — не приведи Бог! Идет комиссар с солдатского митинга, проходит мимо полкового знамени — и на вытяжку, а рука сама честь отдает. В крови это уже было . . . Чувство чести . . .

— Наша чукча баба — тоже честный баба. Она не будет масла жрать, конфета жрать и не спать, кто дает. Честный баба, — ворчал шаман дневальный.

Геолого-разведывательная часть лагеря долго была государством в государстве. Слишком важны были изыскания на нефть, уголь, золото, радий. Многих заключенных геологов досрочно освободили, с прикреплением их навечно к северу, и

они остались в лагере по вольному найму. Так, первым начальником геолого-разведочной части лагеря долго был бывший заключенный, ученый с мировым именем. Но в один прекрасный день в Москве решили, что во главе разведки на «сталинской жемчужине Севера» должен стоять не бывший заключенный, а геолог большевик. И у нас появился новый главный геолог лагеря — старый толстый коммунист, в порядке партийной дисциплины кое-как окончивший московскую горную академию. Был он вял, рыхл, добродушен, но некультурен и безграмотен до крайнего предела. Писал он приказы на таком языке, что они были притчей во языцех даже у не блещущих грамотностью чекистов. Сам себя новый начальник упорно называл «геолухом», и эта кличка плотно приросла к нему.

Шли месяцы, когда Сталина вдруг обуял зуд пересыпать свои речи и статьи, к месту и не к месту, мифологическими именами и образами. Поэтому и по радио еженедельно передавались небольшие беседы по греческой мифологии для партийного и советского актива. В выступлениях и даже разговорах активистов запестрели Герострaты, Зевсы и особенно, конечно, Антеи. Не отстал от других и наш *геолух*, и от него мы узнали о существовании Домкратова меча и Домоклова яйца.

— Впрочем, вы ведь беспартейные, к тому ж заключенные, вам это до лампочки — ни к чему, — со вздохом прибавлял добряк.

Но узнав случайно, что Вагон Семафорович писатель, геолух приблизил его к себе, перевел из рабочих партии в аппарат управления:

— Я не больно дюже пишу. Ты писать умеешь? Вы по специальности ведь писатель?

— Писатель.

— Ну, вот. Я буду мысль основную давать и генеральную правильную направлению, а вы разработаете. Как скончаешь обработку, дашь Николаю Николаевичу — он геологию наведет, выправит. И всё будет на ять. А Педестратова ты знаешь?

— Кого?! — испугался Ваган Христофорович.

— Да там церкву какую-то буржуазную спалил . . .

— Ага. Знаю. Герострат.

— Кажись, так. Ну, и тут подмогнешь иногда. А то по радио такую хреновину закручивают — не понять бывает.

И в домике гравиметристов стало появляться много добра из лагерного буфета для вольнонаемного персонала — дары Вагону Семафоровичу за его разъяснительную работу в вопросах сталинско-эллинской мифологии.

К заключенным, работавшим в его аппарате, геолух относился заботливо и даже сердечно: хлопотал о том, чтобы выдаваемые им обмундирование и обувь были первого срока, бегал в управление и скандалил о дополнительном питании хотя

бы для геологов и топографов руководящего состава.

— Как у моих геолухов дело мокрое, всегда по болотах, то их шлёры (обувь) развалились, остался один прах, — убеждал он снабженцев лагеря, смешно разводя толстыми короткими руками около криво обвисшего чрева, затянутого в чекистский мундир. — Страмотища одна: у геолуха Панова задница светится. А? Хучь и заключенные, а всё — шесть условий Сталина!

Однажды, подвыпив, наш геолух разоткровенничался:

— Что ж, я не дурень, понимаю, какой я есть в этой чёртовой нефте сапог. Вы думаете — мне легко? Сорок лет я в Москве на пивоваренном заводе работал, всю технику превзошел, последние семнадцать лет старшим мастером бродильного цеха был. Пивное дело знаю на большой с покрышкой. Ну, конечно, партейный был. Аж с девятнадцатого году. Тут, значит, меня, как парттысячника, на учебу посылать задумали. Я прошусь, конечно, в институт бродильной промышленности, как по моей специальности прямо и в аккурат, а на меня разверстка пришла в горную академию. Я уже и хлопотал, и молил, и убеждал — ни черта не помогло. Кончил бы бродильный — сидел бы и на деле приличном и привычном, и в Москве оставшись. А после горной академии, глянь, куды закатали! Вы-то хучь заключенные, а я-то ведь с девятнадцатого, ты подумай только: с девятнадцато-

го! — партейный коммунист и сознательный пролетарият. Так мне-то обидно, а? — и обильные слезы орошали обвисло-студенистые щеки сознательного пролетарията.

Командовать ему, к сожалению, долго не пришлось: на Ухту вскоре прибыл хотя и заключенный, но уж слишком привилегированный: бывший крупный коммунист, близкий к Берии и, как говорили, к самому хозяину. Был этот Кремс к тому же вполне грамотным геологом. Во всяком случае, он весьма скоро был *условно-досрочно* освобожден и сразу же назначен главным геологом лагеря. Сдавая дела, геолух не слишком печалился: он оставался в лагере на спокойной работе — чем-то вроде заведующего геолого-разведочным архивом, причем всю работу нес, конечно, заключенный специалист, а геолуху оставалось только подмахивать свою подпись на бумажках, составленных тем же специалистом или секретарем Вагоном Семафоровичем.

— Пусть попарится, — злорадствовал геолух: — Кремсу и карты в руки: он разные науки превзошел и в НКВД свой человек — аж чуть ли не с основания ЧК! А я — какой я геолух . . . В душе я пивовар, братишки . . .

— Ведь вот, скажи пожалуйста, замечательный человек наш Вагон Семафорович, а все ж таки армянин в нем сказывается, — отвел как-то меня в сторону Вассо Григорьевич. — Понимаете? Нет

этого нашего кавказского... Ну, как это? Рыцарства, широты. А так — душа-человек.

— Очень люблю я нашего Вассо, — задумчиво говаривал мне Ваган Христофорович. — В нем всё: доброта, благородство, деликатность, великодушие. Вот, что вы там не толкуйте, а что значит княжеская порода! Может, там, в Европе, это уже не играет роли, но на востоке, у нас на Кавказе... О! Уничтожьте местное дворянство, местных князей, — и от нации ни хрена не останется... Но все-таки он грузин... Удивительно глупый, не предприимчивый, тупой народ! Иногда мне, ну, тяжело смотреть на Вассо. И потом — грузины подарили нам Сталина...

— Вот так они всегда, — смеялся Сережа Новицкий, — вместе с нами всеми — друзья первый сорт. А останутся один на один с тобою — и ну друг друга ругать: не лично, а так сказать за нацию. Что это у грузин и армян — антисемитизм какой-то друг к дружке? Так, что ли?

— Человек человеку добрый был, рыба другому давал, баба своя другому давал — угощал, водка давал, все было добро. Потом Куркыль-ворон человеку сердился — так дружно живет, мало пáдали ворону, Куркыль человеку глаза мочился, человек другому смотреть стал плоха, завидовать стал, злой стал.

---

Накануне еврейской Пасхи ко мне в управление лагеря зашел мой большой друг, механик и часовщик управленческого лагпункта Самуил Исакович Перовский. Он был в приподнятом настроении.

— Приходите завтра к нам, — шепнул он, — будут только самые близкие. А после маленькой слузбы — у меня шалман надезный, никто посторонний не зайдет — закусим, цем Бог послал. Придете?

Когда я, наконец, смог выбраться к Перовскому, маленькая импровизированная служба уже заканчивалась. Служил раввин, осужденый на восемь лет за антисоветскую деятельность: он протестовал, когда его синагогу, где-то в Белоруссии, превращали в клуб. Сейчас раввин работал уборщиком в портновской мастерской лагеря. Хотя старый небольшой барак, в котором помещалась мастерская Перовского и жил он сам, и стоял на отлете, под обрывом, на отмели Ухты, празднование Пасхи не обошлось без волнений: комендатура лагеря что-то пронюхала и нагрянула как раз во время службы. Но бутылка спирта и хороший кусок крепко зажаренного с луком мяса помогли: охранники из уголовников крякнули, попросили к спирту соленых огурцов, три раза виртуозно, но беззлобно, выматерились и ушли, предупредив:

— Вы тут особенно не рассусоливайтесь, скорее кончайте, а то другие придут . . .

Но все это не помешало торжеству из торжеств.

Заключенные на разные сроки, старые и молодые, все переживали праздник здесь, на северной русской реке, так, как никогда не чувствовали его ни в маленьких местечках Подолии, ни в шумной красавице Одессе. Бесправные, они чувствовали себя сейчас, здесь, людьми, людьми внутренне свободными от того рабства вещей, мелких забот и навязчивых обязанностей, которые липкой паутиной дрязг захламляют и связывают нашу каждодневную душу.

А вскоре подошла и наша православная Пасха. И Самуил Исакович был, конечно, так же радушно приглашен на встречу Пасхи нашей. Накануне лагерное начальство расстаралось: нагрузило нас непосильной работой по спешному составлению генеральных смет на строительство и технических заявок на материалы и оборудование. Но мне никогда раньше не приходилось наблюдать, с какой молниеносной быстротой заполнялись необозримые простыни смет и заявок, как стремительно производились рассчеты. В одиннадцать вечера ко мне забежал празднично одетый Самуил Исакович. Заботливо и ликующе нес он немалый сверток, аккуратно завернутый в небольшую скатерку.

— Вы, очевидно, задерзитесь здесь, в бюро. Так я пойду раньше — у вас ведь принято святить кулицы и паску. Я освящу: я ведь знаю, где вы будете встрецать Пасху . . . Тут яички крашеные, кусок мяса. Паска — не знаю, а кулиц вышел у меня мировой.

В бараке геофизической партии уже было полно, когда я вошел в досчатую комнатку с двойными нарами и низким потолком. У барака все время маячили сменяющиеся дежурные, чтобы предупредить малейшую опасность: приближение вохровцев (вооруженной охраны) или комендатуры. А в комнате у стены стоял маленький стол со снедью, главным образом заготовленной Перовским и Ваганом Христофоровичем. Человек двадцать наиболее верных друзей еле вмещались в каморке. Дышать было нечем. Служил о. Агафангел, ветхий иеромонашек из какого-то захолустного северного скита, обвиненный в терроре и сидевший в лагере уже седьмой или восьмой год. Работал он, по старости лет, дневальным, то есть уборщиком, в бараке заключенных инженеров, всеми был любим и уважаем за кроткий, но стойкий, характер и необычайную доброту и ласковость. Помню, когда я прибыл в лагерь и сильно подголадывал, он тащил мне то кусок пайкового хлеба, то пряничек из буфета, то какую-нибудь сласть, полученную им от инженеров его барака. Когда к Сереже Новицкому приезжала на свидание его мать, о. Агафангел купил на свои жалкие грошики несколько конфеток в лагерном ларьке и, застенчиво, из рук в руки, передавая их парню, тихо прошелестел:

— Маменьке вашей. Угостите ее сладеньким... К чаю — оно хорошо...

Сейчас он тихо-тихо, но внятно произносил все возгласы заутрени, и все присутствовавшие приду-

шенно и не в лад, но умиленно пели радостные песнопения Воскресения. Пел торжественный, раскрасневшийся Самуил Исакович, особенно гордо поблескивавший покрасневшими глазами, когда пелось «Светися, светися, Новый Иерусалиме» или «Ликуй ныне и веселися Сионе». При этом он скороговоркой, как бы про себя, прибавлял: «и наш Невель, и вся земля». Пел вчерашний комсомолец Новицкий, вдруг по-детски рассмеявшийся при словах «от смерти бо к жизни»:

— Почему тут, Андрей Алексеич, от смерти бок? Или тут — «бок жизни»?

Пели менонитский пастор д-р Гербарт, князь Вассо, Ваган Христофорович и красавец матрос, бывший красный партизан, буровой мастер Нестеренко. Начальник партии Николай Борисович не пел: он преданными горячими собачьими глазами неотрывно глядел на красивую статную Сусанну Александровну, зато уж она разливалась, покрывая весь хор и едва сдерживая свой голос оперной московской певицы. Сейчас она кончала свой пятилетний срок заключения и не знала — куда податься после лагеря.

А кто был торжественнее всех, так это шаман. Несмотря на удушливую жару, он вырядился в свой полный меховой костюм, нацепил ожерелья из зубов и поставил впереди себя двух свежевыстроганных новых идолов: вещего ворона Куркыля и великосильного медведя.

— Праздник болшая. Должен одежа праздника

одевать, — обрывал он нас, когда мы предлагали ему хотя бы расстегнуться: по лицу бедного шамана пот лил в три ручья.

— Христос Воскресе! — еле слышно возглашал монах.

— Воистину Воскресе! — радостным шёпотом отвечали мы о. Агафангелу.

А за трапезой наш шаман ел мало, зато обильно вымазал и пасхой, и мясом, и яйцами обоих идолов.

Недели через две-три начальство дозналось-таки о праздновании Пасхи. Первым был вызван на допрос рабочий гравиметрической партии, бывший слесарь «Красного Выборжца», бывший гвардеец Николай Павлович, сразу же принявший всю тяжесть вины на себя. Он сознался в том, что занимался злостной лагерной агитацией и поповщиной. Николай Павлович не назвал ни одного имени, как ни истязали его на допросах. Он старался выпутать и о. Агафангела и других, арестованных по этому делу. Держался он с некричащим достоинством, отстаивая ближних своих так же просто, как, бывало, на поле сражения. Из Третьего — оперчекистского — отдела он уже не вернулся. Смерть его на пытке была оформлена в последующем порядке, как настигшая его, при попытке побега, пуля. Всё это узнали мы благодаря шаману, лечившему по-своему одного из сотрудников следственной части от скверной болезни.

Неприметный, худой и сутулый местечковый

раввин и тишайший о. Агафангел были осуждены выездной сессией суда Коми АССР за лагерную пропаганду и расстреляны. Но большей части участников празднования удалось как-то выкрутиться.

Князю Вассо, Новицкому и Вагану Христофоровичу посчастливилось даже остаться на прежней работе. Только много позже, объясняя геолуху какие-то мифологические закавыки, Ваган вдруг обнаружил, что мысли старого коммуниста витают где-то далеко. Геолух вперил на Вагона Семафоровича неподвижный водянистый взгляд и, оглянувшись по сторонам, выдавил полушёпот:

— Отстоял я тебя, брат, недавно. Там тебе всё какую-то Паску шьют. Так я сказал, что не знаю, как раньше, а теперь ты есть армянин, и никаких Пасок у вас не положено, Они там засмеялись, но пока сошло. Смотри у меня! Осторожней!

1955

## ЗАПАСНЫЕ ПУТИ

Окно моей комнатки выходит на почти заброшенные запасные пути Лонгайлендской железной дороги. Комнатка у меня мрачноватая, со странно срезанными углами, но вот эти-то запасные пути веселят душу. Они сильно заросли травой — пыльной, замусоренной, но травой. И вспоминается далекая юность, захолустная станцийка с деревянным схилившимся вокзальчиком, пыльная выжженная трава запасных путей, ромашка среди бурьяна.

Трехмиллионный Бруклин — не город. Это — конгломерат механически сбитых в кучу небольших уездных городков Запада и России, старой России. И тот Бруклин, в котором я поселился, — это русско-еврейский залитый палящим солнцем грязный городишка, со свечками цветущих каштанов на улицах, палисадниками перед домами с выбегающими вперед крылечками с точеными перильцами. Магазинчики, в которых почти все помнят русский язык, пестрый и шумный базарчик прямо на улице, где хозяева лавчонок и

навесов по-старинке затягивают вас за рукав в свое немудрящее заведение и, приложив палец к губам, таинственно шепчут вам доверительным громогласным шёпотом: «Только для вас... Себе в убыток... Я тоже из России: с Минской губернии. Три доллара», не говоря даже, что же именно они вам предлагают купить. Мясная и колбасная грузного хохотуна поляка, бакалейная осетина, много еврейских лавок, где купите и кныши, и малосольные огурцы, и гречневую крупу, — и грязноватый негритянский кабачок, носящий гордое имя „Tikhi Don" и принадлежащий высокому и щербатому донскому казаку Шумилину, с заросшими черной щетиной кулачищами длинных, как у орангутанга, рук, всегда несколько вывернутых вперед ладонями, вернее, чем-то ладонеобразным: чисто медвежья лапа.

Хорошо или худо торговал Шумилин в своем баре «Тихидон», — я не знаю. Но домой, к полуночи, он возвращался всегда вполпьяна, размахивая кулачищами и припевая:

И направо кес-кесе,
И налево кес-кесе...

Это, пожалуй, было все, что вывез казачина из Парижа, где прожил как-то около двадцати *белоэмигрантских* (это он всегда подчеркивал) лет.

— Иван Александрыч, — обращался он ко мне постоянно, — а что делать, как вы полагаете, с мошенниками, незаконно избравшими атаманом

Полякова? Ведь по основным законам Всевеликого Войска Донского . . .

Вопрос о выборах атамана — одного для всего донского зарубежья — волновал его искренне, в хмелю даже до слез.

У него-то я и поселился, сняв свою конуру в какой-то картонной квартирке прямо над Тихидоном.

Тут не так одиноко, не так щемяще одиноко. Встретишь на улице земляков, лениво перекинешься новостями — или вычитанными из русской газеты, или услышанными кем-то когда-то по радио, — узнаешь об очередном семейном «тробле» — недоразумении патриархального русского Бруклина.

А в комнатке — несколько русских книг, вывезенная из дома еще дедовская икона и, главное, окно на забытые запасные пути. Но ведь и по ним когда-нибудь прокатит маневровый локомотив, протащатся вагоны.

На работе, слава Богу, тоже несколько русских. И прямо против меня, тоже чертежница, как и я грешный, — молоденькая, стройная, как стебелек, Лизочка. Работаю я уже давно конструктором, делаю и рассчеты, но числюсь все-таки не инженером, а чертежником: трудно на склоне лет одолеть аглицкий, да и напористости уже нет: укатали сивку крутые горки.

А Лизочка — из нашего же города, только вывезли ее во время войны в Германию еще совсем

несмышленышем, да и в Америку приехала она в бутонной еще поре.

Домой едем вместе, вместе ввергаемся, работая локтями, в гремящий ад подземки, вместе идем по улице домой — Лиза живет за углом от меня.

Карие глаза, немного широко расставленные, тонкая русая косица, заложенная намеренно не совсем как надо, прядка непокорных волос, спадающая то и дело на белый выпуклый лоб. Веселые ямочки на румяных щечках, платье, у открытого ворота приклеенное к худенькой шейке клейкой лентой «скачтейпа»: а то, как наклонишься над чертежом, все насквозь через ворот видно . . . Знаю я вас, мужиков . . .

Всегда веселая, подбористая, а по-английски щебечет, что твой воробей чирикает: молодость легко схватывает чужой язык.

И за год — Боже, что такое год в ее-то годы! — ну, прямо расцвела наша Лизочка: глаза сияют, сама — сметана с малиной, а не девушка. И провожаю ее домой я теперь после дождичка в четверг: всегда провожает ее торчащий у дверей — к моменту закрытия нашей конторы — какой-то высокий брюнет с выпученными бараньими глазами и нагловатым подбородком. Пленил он нашу девочку стихами, чем-то вроде:

Звезда души! О, песнь моей мечты!
Я пленник твой, красавица, навеки . . .
О, если то любовь, скажи, — кто ты . . .

— Лизочка, зачем он тебя так глупо спрашивает? — говорю я ей. — И стишата какие-то поганые . . .

—Ах, ничего-то вы в этом не понимаете, — вспыхнула Лиза. — Ведь это — лирика. И все понятно: вот когда вы что-нибудь сочините . . .

А я, это верно, писал иногда. Больше — для себя.

Что долго размазывать — бросил ее вскоре, подлец. Ходит заплаканная, вся какая-то сникшая. Опять ее провожаю. Иной раз на русские спектакли с нею ездим. Но ведь я-то — что — чуть ли не вдвое ее старше. Скучно ей со мной, конечно.

И вдруг, однажды, Лизочка с работы пошла не домой, а прямо ко мне: хочу, мол, поглядеть, как вы живете, Иван Александрович. Пожалуйста, очень рад, — говорю. А она молчит, как-то ей не по себе. Потом заплакала, села на мою кровать с продавленным матрацем, и говорит:

— Не пойду я сегодня домой, Иван Александрович. На душе у меня — хоть вешайся. Одинокая я, Иван . . .

Даже «Александрович» тут не прибавила.

А я стою, как столб.

Вскочила она, заплакала в голос, — и на шею ко мне.

— Знаешь, — кричит, — бывает момент, когда

и к первому встречному кинешься на шею — до того тошно все: лишь бы не одной . . .

И обняла меня так, что у меня все сердце перевернулось.

Ну, что и говорить: обрадовался я так, что даже . . . — Впрочем, со всеми бывает, и с молодыми бывает. Особенно от сжигающей радости. Но я . . . Сижу на рассвете, как в кровь, до полусмерти, избитая собака. Не стыдно мне даже, не позорно, а хуже: хоть сейчас удавись. А она утешает:

— Ничего, Ваня, ты ведь тоже нервный, тоже жизнь несладкая. Бывает.

Потом — потом наладилось. И в комнате стало как-то солнечней. Вещички свои перенесла ко мне: платьишки пестрые, пальтецо, картинку убогую, второй том «Анны Карениной», да стишки какие-то в книжке с оторванным началом и концом.

Веселая, как канарайка, — так снаружи, — а в глазах — тоска.

А у меня — теперь дом, есть о ком думать, заботиться. Не подруга даже, а скорее — дочка. И так — месяц или даже недель пять.

Уехал я раз по делам — не помню даже сейчас: по какой надобности — в Филадельфию. Возвращаюсь — нет Лизы. Только записка: «Простите. Вернулся Витя. Простите». — И конец записки закапан. Видно, пожалела все-таки меня.

А я-то — могу ли я ее винить? Ведь воробушек, глупеныш еще. И что ей со мной-то за веселье —

со старым грибом? Я-то ведь свое отжил. Ведь теперешняя жизнь моя — уже не жизнь, а житие . . .

Да только — опять ведь бросит ее, сукин сын. Знаю я таких.

И тогда, тогда-то, может, и еще воротится она ко мне.

Вот ведь на самые забытые запасные пути возвращается с иголочки новый локомотив. А иногда — иногда среди ржавых рельс пробивается не только трава, а, гляди, и ромашка . . .

1959

*Дорогие читатели!*

*Переиздание ряда рассказов моей старой (1960) книжки «Пыльное солнце» вызвано тем, что книжка разошлась полностью уже лет семь назад. А мне, естественно, как всякому автору, хотелось приветствовать* **новых** *читателей, и особенно недавних пришельцев из Советского Союза, не только новыми, но и некоторыми прежними своими рассказами. Добро пожаловать!*

*Автор*

## КНИГИ БОРИСА ФИЛИППОВА

*Град Невидимый.* Стихи. Рига, 1944. Распродана.

*Кресты и перекрестки.* Рассказы. Изд. В. П. Камкина, Вашингтон, 1957, 159 стр.

*Ветер Скифии.* Стихи. Вашингтон, 1959, 48 стр. Распродана.

*Непогодь.* Стихи. Вашингтон, 1960, 32 стр. Распродана.

*Сквозь тучи.* Повесть. Вашингтон, 1960, 191 стр.

*Пыльное солнце.* Рассказы. Вашингтон, 1961, 47 стр. Распродана.

*Бремя времени.* Стихи. Вашингтон, 1961, 32 стр. Распродана.

*Рубежи.* Стихи. Вашингтон, 1962, 24 стр. Распродана.

*Полустанки.* Рассказы. Вашингтон, 1962, 4+48 стр.

*Музыкальная шкатулка.* Рассказы. Вашингтон, 1963, 100 стр. Распродана.

*Стынущая вечность.* Стихи. Вашингтон, 1964, 16 стр.

*Кочевья.* Рассказы. Вашингтон, 1964, 59 стр. Распродана.

*Живое прошлое. I.* Литературные очерки. Вашингтон, 1965, 115 стр. Распродана.

*Тусклое оконце.* Рассказы, стихи, очерки. Нью-Йорк, Изд. «Русская Книга», 1967, 87 стр.

*Ветер свежеет...* Стихи и проза. Вашингтон, 1969, 48 стр.

*Мимоходом.* Рассказы, легенды, стихи. Вашингтон, 1970, 95 стр.

*Преданья старины глубокой.* Рассказы, легенды, стихи. Вашингтон, 1971, 108 стр.

*За тридцать лет.* Стихи. Избранное. 1941—1971. Вашингтон, 1971, 83 стр.

Готовится к печати:

*Живое прошлое. II.* Литературные очерки.